

АЛЕКСЕЙ ГРАЧЕВ

УРОКИ АГЕНТУ РОЗЫСКА

АЛЕКСЕЙ ГРАЧЕВ



УРОКИ АГЕНТУ РОЗЫСКА

Верхне-Волжское книжное издательство
1972

Р2 **Грачев А. Ф.**

Г78 Уроки агенту розыска. Повесть. Ярославль, Верхне-Волжское кн. изд., 1972.

192 с.

В своей новой повести прозаик Алексей Грачев рассказывает о трудной работе сотрудников уголовного розыска в одном из губернских городов в первые годы существования молодой Советской республики. Автор использовал материалы Государственного архива Ярославской области и воспоминания ветеранов милиции.

$\frac{7-3-2}{29-72}$

Грачев Алексей Федорович

Уроки агенту розыска

Редактор *Л. Коконин*
Художественный редактор *В. Усов*
Художник *Н. Флоринский*
Технический редактор *Э. Патрикеева*
Корректор *Н. Гутоп*

Сдано в набор 2 января 1972 г. Подписано к печати 27 марта 1972 г. АК01583. Формат бумаги 84×108/32. Бумага типографская № 3 . Усл. печ. л. 10,08. Уч.-изд. л. 10,39. Тираж 115000. Заказ 470. Цена 44 коп.

Верхне-Волжское книжное издательство Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Ярославль, ул. Трефолева, 12.

Типография № 2 Росглавполиграфпрома, г. Рыбинск, ул. Чкалова, 8.



1

Летним полднем девятнадцатого года Костя Пахомов приехал в город. Состав из расхлябанных вагонов остановился на дальнем пути, рядом с санитарным эшелоном. Едва затих звонкий перепляс буферов, как послышалась негромкая речь раненых, стук костылей, стон вперемежку с руганью. Покрикивал где-то неподалеку маневровый паровоз, тонко отзывалась ему трель рожка стрелочника и вдруг все эти звуки разом поглотились громом духового оркестра у вокзала. Кто-то из пассажиров, нетерпеливо закачавшихся к выходу, проговорил:

— Еще одна маршевая рота уходит на войну...

Другой — мужик в шинели и холщовом картузе, пробурчал:

— Воюют, а в щах заместо говядины тараканы.

Парень в черном пиджаке, черной кепке заглянул ему сзади в лицо:

—У тебя, дядя, одна жратва на уме. Потерпеть не можешь?

— Мне-то что. У меня ремешок подтянут...

— Вот и язык подтяни, — посоветовал парень, оглядывая ведро, которое нес мужик в руке:

— Вижу как подтягиваешь... Дуранду с крахмального на толкучку везешь?

Тот оглянулся и теперь испуг появился в глазах. Помотал головой:

— Не-е-е-... Какая там дуранда. Творожку да лучку родичам в город из деревни. Подкормить малость.

Он, кряхтя, спустился со ступеньки на землю, а под вагон юркнул с проворством ящерицы. Костя полез за ним, шаркая мешком о закопченные шпалы. На дощатой станционной платформе попутчик покосился на него и остановился:

— Это ты, — произнес, вытирая лоб рукавом прожженной в полах шинели. — Думал тот, черный что грач. Может из бандитов, может из Чека. И тех и тех бойся. Их ты, времечко.

Он оглядел Костю, добавил уже приглушенно:

— Из дезертиров что ли?

— Нее-е, — тоже нараспев ответил Костя, — на работу приехал.

— На работу? — недоверчиво и вместе с тем разочарованно переспросил мужик. — А я смотрю рожа круглая да румяная. Точно в лесу, в землянке откормился. Чего же тогда стороной пробираешься?

Он сплюнул и, осмотревшись, резво пошагал к видневшемуся неподалеку кладбищу. Точно не по душе ему была музыка, гул на перроне. Или боялся снова столкнуться с тем скуластым парнем?

Возле деревянного с огромными окнами вокзала шумела толпа. Развевались знамена, кричал что-то старик, забравшись на пустые ящики. То и дело он стукал в грудь кулаком, ветер трепал его жидкие седые волосы. Кто-то плясал, кто-то смеялся раскатисто. Проталкиваясь, Костя видел юные лица красноармейцев, заплаканных женщин, девчат с ласковыми глазами, степенных и важных стариков, наказывающих что-то строго красноармейцам, мальчишек, снующих и гомонящих, что воробьи над житом.

— По ва-а-а-гонам!..

Толпа от этой команды пришла в движение, хлынула волной по перрону. Грохали каблуки бойцов, заскакивающих в теплушки. Последние поцелуи, торопливые и

жадные, может быть навечные, слезы, крестящие пальцы. Гукнул паровоз и тотчас же грянул опять духовой оркестр, у многих от этого грустного марша мгновенно заблистали глаза. Даже у Кости в горле запершило. Заскрипели запели колеса и теперь в едином порыве взметнулись в небо косынки, платки, картузы, ладони. Поплыли мимо косоворотки и картузы, пиджаки и залатанные брюки, заскорузлые гимнастерки, пузырчатые галифе, засаленные обмотки. Полетело из одного вагона с присвистом и топотом:

Пойду, выйду в рожь высокую
Там до ночки погожу...

— Это не деревенское кулачье, — проговорил кто-то с гордостью за спиной у Кости. — Фабричные, прямо из казарм.

У старика, который сказал, вытянутое с синеватиной лицо, ощупывающие глаза. Так и говорили они: «А ты что же, парень, не едешь на фронт? Ты почему остался на перроне? Такой-то румяный?».

Вроде бы как и окружающие тоже стали подозрительно посматривать на Костю, на его мешок, в котором лежали яйца, преснухи, банка сметаны — все в подарок Александре Ивановне, к которой собирался идти.

«Рано еще мне. До осени оставили, осенью может и я поеду»...

Ответив так про себя старику, Костя пошел на площадь, где тоже было полно народа, повозок, походных кухонь, подвод с мешками, обмундированием. Готовился к отправке еще один эшелон. И здесь поцелуи, наказы, объятия и плач, то громкий, то тихий, всхлипывающий. На одной из подвод сидел красноармеец. Лениво водил пальцами по клавишам хрипящей гармони. Увидев удивленный взгляд Кости, пояснил:

— Пулей прошибло. Одной пулей гармонь, другой приятеля в живот. На фронт вроде как он едет со мной...

Он вздохнул, отложил гармонь за мешки. Костя же протолкался сквозь толпу, обошел торговку, зычно предлагающую котлеты из конины и остановился изумленный. Прошлой зимой он с матерью привозил дрова на Мытный двор. Вот здесь ехали на дровнях вдоль улицы. Тогда лежали черные от паровозной копоти сугробы, дымились трубы домов, деревья стояли в снежных платках.

Катались ребята с горок, жители везли на санках ведра с водой.

Сейчас вдоль улиц лишь черные печи, голые стены, куски железной кровли, битый кирпич. Одну из печей на другой стороне площади разламывали какие-то странные люди. На одном бархатный пиджак, у другого на голове котелок, третий даже при галстуке. Толстяк с трясущимися щеками катил тачку с битым кирпичом на пустырь. Колесо тачки щелкало о щебень и камни и в такт глухо щелкала пряжка ремня о ствол винтовки охранявшего людей красноармейца. Красноармеец поворачивал лениво зачернелое лицо, поддергивал локтем приклад.

— Куда тебе, эй? — послышался женский голос.

Из-за спины вывернула девчонка лет четырнадцати-пятнадцати. Черные волосы прилипли на лбу, лицо как у пожилой женщины, одутловатое, смурое. Встала напротив, уставилась не мигая, как хотела еще что-то спросить или же собиралась просить подаяние.

— Знаю я, куда мне.

Осторожно подкинул мешок на плече и двинулся вдоль пустынной улицы. Ветер швырнул ему в лицо щепоть горячей красной пыли и от этого ожога, впервые с той минуты как покинул родной дом, тревога охватила его:

«Как-то жить будешь здесь, Костюха?».

2

Отец Кости погиб в мировую войну. По рассказам, дошедшим до Фандеково, будто бы в бою погнал он артиллерийского битюга в укрытие, поскольку ездовым служил. Только поскользнулся или подвернулся неловко — ударил его ошалевший от взрывов конь кованым копытом по виску. Будто бы и не охнул отец...

Если отца свела со света лошадь, то Николая, старшего брата Кости — волки. Случилось это уже в начале зимы семнадцатого года. Отступая из Риги от немца, остановились солдаты в имении графа Аракчеева. Подтопить печи понадобилось и поехал Николай с однополчанином в лес на порубки. А тут волки рядом взвыли, а может даже и собаки одичавшие. Бояться надобности

не было — с ружьем — а Николай — он и в Фандеково-то храбрым не был — пустился бежать. Да зацепился за пень что ли, упал и глазом на острый сук.

Об этом узнали лишь в восемнадцатом году. По весне пришел в дом мужчина, житель какой-то далекой ихнего уезда деревни. Еще с порога, с любопытством осмотрев избу, спросил:

— Ты это мать Пахомова Николая?

— Я, — ответила мать и вцепилась в край стола, онемела.

— Ну так не жди сына, — по-петушиному выкрикнул мужчина и как палкой стукнул мать по голове. С помощью Кости привел ее в чувство, стал извиняться, что надо бы осторожно как-то дать понять. Осталось в памяти сказанное: «Подбежал другой солдат, а он как на казачьей пике».

Теперь вот и Костя ушел из Фандеково. Той же дорогой, что и отец уходил на войну и брат — мимо бань, мимо бугров вдоль реки, где в сенокос мужики пьют водку, галдят и поют грустные песни, мимо мельницы Семенова. Стоит мельница, у бочага, густо заросла высокими розовыми цветами и крапивой. На бревнах, осевшая за многие годы, как пыль, почерневшая мука. Тянутся к берегу деревянные лотки — все время по ним бегут зеленые от травы потоки. За мельницей — дом-пятистенок, с коньком на трубе, с высоким забором. Вчера вечером стоял у этого забора с Марьей — дочерью мельника. Теребила в руке платок, смотрела в сторону обидчиво.

— Покидаешь, значит, — сказала, повернулась вдруг и пошла к дому...

А покинул деревню он потому, что тесная стала для него изба с низким потолком, с тусклыми окошками; в ней всегда сумрак, тяжелый воздух. Мать хоть и плакала, а не противилась решению сына.

— Может тебе лучшая доля достанется, не как отцу с братом...

Одела его «как полагается»: сапоги из кожи, брюки из синего трико, темно-синий пиджак, картуз как у зажиточного мужика. У околицы, перед тем как распрощаться, порадовалась:

— Слава богу, не стыдно будет за тебя перед людьми. Кланяйся Александре...

Александра была подруга матери, жила когда-то в

Фандекове. И замуж они вышли за сельских мужиков, да чуть ли не в один день. Разошлись только пути их мужей сразу же после свадьбы. Пантелей — отец Кости остался в селе, хлебопашеством занялся, Тихон же, муж Александры Ивановны, переехал в город и поступил на службу в сыскное отделение. Года три служил, а потом застрелили его грабители.

...Жила Александра Ивановна на другом конце города, за рекой. Костя шел мимо сгоревших в белогвардейский мятеж зданий, мимо магазинов, захламленных и опустелых, мимо бараков, в которых ютились погорельцы, через площади, через трамвайные рельсы, мерцающие на солнце, как тающий воск. Остановился он лишь возле собора, окруженного высокими и толстыми стенами. По сторонам от широких каменных ступеней подымались белые колонны. В голубом небе плыли в облаках позолоченные кресты. В черных глазницах колокольни, стоявшей поодаль, метались колокола. Звон катился над городом гулкий, быстрый и тревожный.

У колонн толпились люди, похожие на тех, что видел Костя возле вокзала — больше пожилые мужчины и женщины, в костюмах, хоть и поношенных, но из дорогого материала, шляпах и шляпках, с тростями и зонтиками в руках. Крестились, о чем-то переговаривались негромко, оглядывая настороженно друг друга. Сновали в толпе ободранные замурзанные мальчишки. Один из них на глазах у всех полез в карман к тщедушной старушонке. Та ахнула и с усилием подняла суковатую палку. Мальчишка нахально захохотал, насвистывая, отправился через улицу на бульвар.

— Обнаглело ворье, — проговорил злорадно мужчина в парусиновом картузе, — ну и власти. Скоро нагишом будем ходить по улицам, поживем. Раз мощи князя Федора с детьми тронули, то ли еще будет.

Его сосед с родимыми пятнами на обеих щеках, прямой, в шляпе насунутой глубоко на виски, напрягая жилистую шею, заговорил быстро:

— Вчера ехал в вагоне. Гляжу, а с Катаичевской церкви крест сдирают. Вышел — так в груди и защемило. Ведь я в этой церкви венчался со своей женой-покойницей. А им, этим комсомольцам, что до этого. Ухватились за канат, как репинские бурлаки и поют еще:

Эх, дубинушка, ухнем...

Сломали крест. Верите ли — с одной дамой обморок. А какая-то женщина одну из этих девиц по физиономии хлоп, хлоп, хлоп... И домой не являйся, кричит. Хорошо бы так и других поучили...

— Хорошо бы, — проговорил в парусиновом картузе, оглядываясь по сторонам. На него шикнули и он замолк, лишь взмахнул рукой. А тут вдруг толпа, неведомо, по чьему знаку, повалила с тихим гулом в собор. Зашаркали подошвы, застукали дробно палки. Костя тоже захотел подняться по ступеням, да вспомнил, что забот у него и без того полно.

Войдя под арку моста, посмотрел на город. Тут и там подымались в небо золотистые шпили соборов, кресты и башенки церквей, схожие с головками чеснока. Поблескивали на солнце крыши зданий, точно на них лежала роса или иней. Синие волны реки лизали ядовито-зеленые от травы берега, бурые валуны, железный хлам. Возле стен монастыря тянулись, незакиданные окопы, оставшиеся от мятежа. По улице, вдоль набережной, катили весело по булыжнику подводы, работали ногами велосипедисты, пронесся, звонко потрескивая, мотоцикл, и дым лег сизой дорожкой в воздухе.

Маленькая стройная девушка в блузке из красных и синих клеток, в юбке, тоже клетчатой — белое с черным — красных чулках, полуботинках прошла мимо, стукая каблуками. Едва не задела Костю плетеной сумочкой. Взглянула на него — постриженные под «польку» рыжеватые волосы, лицо круглое, чуть тронутое загаром, на щеке ямочка.

— Берегись, — загремел крик с пролетки, влетевшей как вихрь, на мост. Зычный голос, треск колес ошеломили Костю. Отскочил в сторону, едва не сунувшись ногой в одну из многих щелей и дыр деревянного настила. Кучер пролетки — старик в сдвинутом на нос картузе, свесился, грозя кнутом:

— Поглядывай, фефела деревенская...

Удивился Костя — каждый угадывает, что он из деревни приехал. Оглянулся на уходящую девушку, перекинул мешок с плеча на плечо и спустился по круче вниз, к берегу реки. В двух шагах река была уже не синяя, а бурая. Мутные волны набегали на пески с тихим плеском, вскипали желтой пеной. У берега, возле груды железных бочек и ведер с пробитыми днищами, сидела ора-

ва беспризорников, горел костер. Языки пламени лизали бока чугунка, подвешенного на проволоке. Шипела вода, бросаясь в огонь, пахло варевом. На Костю глянули глаза черноволосого парнишки в рваной кацавейке — острые, недобрые. Донеслись слова — парнишке приглянулись его сапоги да пиджак. Пошел побыстрее, с опаской оглядываясь на костер: разденут чего доброго. Вон их сколько и помочь никто не поможет — вокруг пустынно.

Успокоился, лишь подойдя к дому, где жила Александра Ивановна. Был дом какой-то чудной — низ каменный, затем подымались мореные прокопченные бревна. Наверху две светелочки, как скворешни. Пристройки для уборных из просмоленных досок. Крыша вполовину зеленая, вполовину красная, оборжавленная. Водосточные трубы тоже проржавели, полопались, ощерились. Парадная дверь на улицу была заколочена широченной доской.

Возле ворот, привязанная к чугунной тумбе, стояла лошадь. С хрустом выбирала из торбы траву, встряхивала черной гривой, словно гоняя паутов. Из калитки вышел высокий сутулый мужчина в синей выцветшей гимнастерке, подпоясанный широким солдатским ремнем с оловянной пряжкой, совершенно лысый, с русыми пушистыми усами. Глаза под такими же русыми пушистыми бровями юркие и цепкие.

— Тебе чего тут надо, парень? — спросил.

Голос был тонкий, а шея вытянулась, как у обозлившегося гусака.

— Я к Александре Ивановне Федоровой. Здесь она живет. А дверь, вон, забита...

— К Александре Ивановне, — повторил дядька, сразу потеплевшим голосом. — Здесь, здесь она живет. Со двора вход в самом низу, под лестницей. Только где-нибудь сейчас за едой рыщет, может даже на толкучке. Меняет, поди-ка, барахлишко на продукты. А жара-то, прости господи, как у негров все равно в Африке...

Он отвязал торбу, бросил ее на подводу, потом отвязал вожжи и опять обернулся к Косте:

—В гости или так переночевать только?

— На работу хочу устроиться, — ответил Костя, удивляясь дотошности дядьки.

Теперь дядька совсем стал ласковым. Заулыбался, похлопывая прутом по штанам, не то плюшевым, не то из

бархата. Пузырями набегали они на кургузые запыленные сапоги.

— Она устроит, — пообещал. — Она все ходы и выходы знает, как в каторжной тюрьме работает в уборщицах. Устроит, — прибавил уже задумчиво. — А тебя как звать-то?

— Костей.

— А отчество?

Костя засмеялся растерянно. Уж очень чудной дядька. Видно, язык у него на болтовню больной.

— Я ведь еще неженатый, какое тут отчество. Просто Костюха.

Дядька погрозил пальцем зачем-то:

— Должность тебе тетка Александра сыщет приличную. Так что отчество понадобится. Так как все же отца-то зовут твоего?

— Ну, Пантелей.

— Стало быть, Константин Пантелеевич, — проговорил извозчик, впрыгивая на подводу, забирая вожжи в кулак.

Костя так и врос в землю. Смотрел с открытым ртом, как бултыхается на рытвинах улочки подвода, качается лысая голова на тонкой коричневой шее. С чего бы это дядька такой уважительный к нему? Будто он, Костя Пахомов, господин какой, вроде уездного доктора или там Егора Ивановича Побегалова, бывшего владельца пароходов в Петрограде.

3

На двери квартиры Александры Ивановны висел замок, наверное, фунтов десять весом. Такие замки зажиточные фандековские мужики обычно вешали на амбары с зерном. Костя вышел, сел на ступеньку крыльца, вытянув усталые ноги. И тотчас же выбежал из-за угла мальчишка лет десяти, круглолицый, белоголовый, в нижней рубашонке, штанишках. Уставился на Костю голубыми глазенками. Потом спросил:

— Ты к кому?

— Я Александру Ивановну жду, жить у нее буду.

— Ага, — радостно воскликнул мальчишка, — значит, ты тоже сыщик?

— Это почему?

— А потому что все в этом доме сыщики, — пояснил важно мальчишка. — И Семен Карпович, и Николай Николаевич, и дедушка Василий был в сыскном, помер, и дядя Тихон у тети Александры тоже был сыщик, да убили его. Значит, и ты.

Его слова сильно не понравились Косте. Он хмуро буркнул:

— Не собираюсь я в сыщики. На фабрику пойду, в ткачи...

Чтобы переменить разговор, спросил:

— Тебя как зовут.

— Петькой, — ответил мальчишка и кивнул головой на небольшой из красного кирпича дом в глубине двора. — Здесь я живу. Отец на станции извозчиком работает, а мать, она не родная мне только, дома. Она портниха, шьет кому что. А еще Настька...

— А Настька кто?

— Это сестра моя. Она в конторе работает машинисткой.

И убежал, как вспомнив что-то важное. Опять Костя остался один. Но ждать было не скучно. Из «дома сыщиков» вышла старуха с темным лицом, в длинной красной кофте, длинном голубом платье, драных шлепанцах и с тазом в костлявых руках. Дошаркала до стоявшего рядом с домом Петьки кирпичного каретника и выплеснула воду. Тотчас же с треском раскрылось окошко в доме. Показалась молодая женщина в халате, закричала на всю улицу с руганью:

— Ты бы себе в морду плеснула эту гадость. Словно место другое не нашла.

— Эко диво, — громко ответила старуха, — жирней будет навоз, Фекла Ивановна...

— Я тебе, ведьма, покажу Феклу Ивановну, — замахала рукой женщина, едва не вываливаясь из окна. Круглое рябое лицо ее побагровело от злости. Старуха тем временем резво возвратилась на крыльцо и отсюда пригрозила:

— Ничего, придет время и каретник у Силантия отберут. Лошадей отобрали и каретник тоже возьмут. Останется твой старый лысый хрен на бобах. Тоже пойдешь куда-нибудь землю копать с господами, отбарствуешь...

Прошла в двери, бормоча еще что-то себе под нос. Женщина все же для острастки выкрикнула несколько обидных слов вслед старухе и замолчала, с треском захлопнула окошко.

Опять пробежал Петька, размахивая палкой, как саблей, проковылял, хрипло распевая, пьяный лохматый инвалид на костылях к кому-то в «дом сыщиков», точильщик с точилом на плече надорвал задаром горло в зазывных криках.

Чтобы время шло быстрее, Костя стал вспоминать Фаденково. Скажем, чем занимается сейчас Мария, пока он сидит здесь на крыльце, изнывая от жгучего солнца, облизывая ссохшиеся губы. Воду носит в огород? Нет, этому еще не время. Уж что к вечеру. Пожалуй, с полдней по тропе вдоль берега, заросшего кашкой, возвращается с ведром молока. Идет ровно четко, взмахивая по-солдатски рукой. Рослая тоже как и он, румяная, задорная. И хохотушка, песенница, да плясунья. Вон в заговенье как плясала — пыль столбом. Только и слышно было: «иэх, ты», да «иэх ты»...

Или в доме Ивана Петровича Камышова, бывшего лавочника, шуршит припрятанным от реквизиций миткалем, шотландским сукном. Да выслушивает, как поглаживая отвисшие жирные щеки, наговаривает он ей всякие там прибауточки, да поговорочки. Хоть и к шестидесяти уже, а глаза всегда так и забегают, как увидят молодую женщину или девку рядом с собой...

Нет, скорее всего сидит Мария с Митькой Побегаловым за овинником, на полусгнивших бревнах или воротине, где он недавно сидел с ней. Известно всем в Фандеково, что влюблен Митька в дочку мельника. Рад бы крутиться около нее почаще, да Кости побаивался, его крепких кулаков. Теперь свободна Мария. Зазвал поди-ка за овинник, улещивает, нашептывает всякие словечки, замасливает. А она еще пуще только краснеет, да вздыхает. Высокая грудь так и ходит...

Помрачнел, стал вспоминать о матери. Вот что она делает сейчас знал твердо — валкует сено в огороде. А около забора кто-нибудь из соседей. Потому что огород у дороги как идти на станцию, на самом людном в селе месте. Кто ни идет, всяк остановится почесать язык. Ну да потому, что мать рада сама поболтать при каждом удобном случае.

Может и сейчас кто-нибудь стоит у забора. Ну, скажем, сельский милиционер Петр Петрович Дубинин, дальняя родня матери. Старичок уже, седой, а звонкоголосый, задиристый, бойкий и проворный. В японскую воевал и в германскую, и даже в гражданскую куда-то далеко на юг ездил с отрядом красногвардейцев. Там ему прикладом в рукопашном бою пробили голову. Вот тогда уж, как вернулся из лазарета, так и поступил в милиционеры. Поговорить любит, с кем бы ни встретился. Вот и сейчас, остановился, скинул фуражку, оглядел по-хозяйски копешку сена, а спросил, поди-ка, про него:

— Ну, проводила Костюху?

— Проводила, — ответит мать и станет вытирать рукавом пыльного сарафана влажные глаза. А может и не заплачет, потому что выплакалась уже досыта. Скажет только:

— Повезет, так найдет себе Костюха лучшую долю. Ему-то хоть выпадет спокойная жизнь.

Такие слова говорила ему на дорогу, такие слова и Петру Петровичу скажет...

Солнце тем временем опустилось на крыши соседних домов. Во дворе стало сумрачнее и прохладнее. Заскрипела калитка, впуская двух женщин с сумками. На Костю они лишь мельком глянули. За ними следом прошел мужчина в мохнатой кепке, одетый в белую рубаху с закатанными по локоть рукавами, в брюках, ботинках на толстой подошве. Лицо круглое, запекшееся от жары — будто он целый день косил где-то траву.

Появилась девушка — та самая, что встретилась на мосту. Увидев Костю, улыбнулась уголками рта и быстрее закрутила плетеной сумочкой, а голову вскинула горделиво. Мягко и ласково поскрипывал песок под каблуками ее желтых полуботинок, плавно раскачивалась клетчатая юбка. Вот она поднялась на крыльцо дома извозчика. Постучала, дверь открылась тотчас же, как будто та рябая молодуха все время сидела в сенях и ждала.

Выходит это и была Настька, которая в машинистках.

Снова хлопнула калитка и не спеша вошел пожилой мужчина невысокого роста в красных солдатских сапогах бутылками, черных брюках, в выгоревшем на солнце зеленом пиджаке, тяжелой серой фуражке. На шее

возле подбородка ярко белели пуговицы черной косоворотки. Когда он приблизился, Костя увидел крохотные, как у птицы, черные глаза, выгнутый носик, похожий на утиный. Над верхней губой двигалась щеточка черных усиков. Нижняя губа была выпячена, как у капризного ребенка — вот-вот сейчас заревет обиженно.

Мужчина вступил на ступеньку и склонился над Костей.

— А ты, парень, пить хочешь?

Засмеялся — открыв пустоту на месте двух передних зубов нижней челюсти. И тут же, как вспомнив, что собеседник увидит эту пустоту, сомкнул губы, став опять похожим на капризного взрослого ребенка.

— Хочу пить, — удивленно ответил Костя, — а вы почему угадали?

Мужчина лишь хмыкнул и потер щеку ладонью руки, как бы и сам недоумевая:

— А потому, что я сам хочу пить. А еще губы у тебя почернели даже. Будто корзину черники сжевал. Некому напоить, ждешь кого-то?

— Александру Ивановну Федорову жду, — ответил огорченно Костя. — А ее все нет и нет. Может, совсем она не придет сегодня, а я сижу...

— Ну, пойдем я тебя напою, — сказал мужчина и взялся за ручку двери на крыльцо. Во двор вошла женщина — маленькая в длинном темном платье, простоволосая, тоже темная от загара. В ней Костя с трудом признал Александру Ивановну, приезжавшую в село года три тому назад и у которой ночевал с матерью прошлой зимой. Вроде как бы болела чем Александра Ивановна — шла низко опустив голову, с усилием несла в руке мешок, шаркала ногами в стоптанных полуботинках, по-старушечьи, хотя лет ей и всего-то было около пятидесяти.

— А вот и Александра Ивановна, — радостно сказал Костя, оглядываясь на мужчину. — Она уж меня и напоит...

— Ну, пусть напоит, — охотно согласился мужчина, — может вода у нее слаще, чем у меня...

4

Александра Ивановна не скажешь, что обрадовалась, увидев Костю. Не поздоровалась в ответ, а только сказала:

— Экий столб вытянулся. В батьку. Тот такой же рукастый был, да широкий, что крючник... На работу, значит приехал? Ну, ну...

Жила она в двух маленьких комнатках, оклеенных зелеными обоями. Одно окно выходило на домишки, внизу по оврагу, с сарайками, с помойками и уборными в огородах. Виднелась из него также синяя река, купола городского Кремля на той стороне, взлетевшие над водой ажурные фермы моста, рыбацкие лодки. В окно второй комнаты смотрели стена каретника, выщербленная точно пулями или камнями, угол дома извозчика, крыльцо.

Мебель в комнатах стояла старинная и бедная. Победнее, пожалуй, чем у него с матерью в деревне: пара венских стульев с бахромой, кровати в обеих комнатах с металлическими ножками, столик, крытый полотняной салфеткой, буфет посудный из красного дерева, весь исцарапанный, облупленный, да еще висла из угла огромная икона.

Бросив мешок к порогу, Александра Ивановна, принялась бродить по квартире. Переставляя стулья, рылась в сундуке, закованном медными полосами, гремела посудой в буфете. Точно чего-то искала и не могла никак вспомнить. Проговорила, наконец-то, сердито:

— Такое пальто, такое пальто. На хорьковом меху. Мы его с Тихоном перед войной покупали у купца Разумнова. Как министр был в нем. А тут чуть ли не пару головок луку взамен, подумать только, времена какие. Да и обмануть каждый норовит-то стекляшки за бриллиант всучит, то карандашом покрасит воду и торгует будто спиртом...

— А я вам, Александра Ивановна, привез из деревни сметаны, масла, — сказал Костя, — да еще преснухи творожные. Да яиц десяток. Мамка просила сказать, что как накопит кринок пять-шесть творогу, так и пришлет с кем-нибудь...

Александра Ивановна сразу переменилась. Она предложила Косте и пиджак снять, и фуражку, а мешок снести во вторую комнату под кровать. Глаза совсем не сер-

дитые — добрые. Наливая воду в цинковый рукомойник, похвалила его за широкие плечи, да шею, которая как у «доброго мужика».

— Сейчас я тебя попотчую, чем есть, — пообещала. Принесла откуда-то воды, загрела самовар. Когда он вскипел, насыпала в чашку вяленой моркови, достала из буфета сухарей.

Пока он жадно глотал кипяток, расспрашивала о деревне, о знакомых. Погоревала, что старшего сына Побегалова расстреляли в мятеж. Ну да ведь за дело — головорез был. Посмеялась, слушая как изображает Костя крикливого старика Дубинина. Размечталась, когда дошел он до Камышова:

— С Иваном-то я в молодости гуляла. Бывало на беседе придет, приткнется... Он — красавец был парень. Кудрявый, на балалайке заковыристо, бывало, дренькал, с песнями. Не то что сейчас, конечно. Старый стал, да невидный ясно, как и мы с твоей матерью-то. Сватал меня Иван, а я отказалась. Уж больно и нахрапист, да и семья жилистая, помучилась бы за ним. Попреков сколько бы наслушалася, потому что родители мои куриц даже не держали...

Про Костину работу она заговорила лишь, когда он собрался спать:

— Так куда хоть сам-то надумал? Может присмотрел уже место?

— А и не знаю. Куда-нибудь. Успеть бы какому-нибудь ремеслу научиться, пока в армию не взяли. Хотелось бы на ткацкую, говорят интересно тамотко...

Александра Ивановна появилась в дверях, качая головой.

— Тамотко стоит твоя фабрика. Дельным-то рабочим делать нечего, мастерят зажигалки, да коньки на трубы, да буржуйки на зиму. И на бирже тоже не ахти какую работу найдешь. Без тебя, что комары, толкутся, потому что карточку продовольственную самую высокую так просто не дадут. Последнюю категорию разве, а на нее что — только куснуть один раз.

И уже твердо прибавила:

— Нет, Костя, устрою-ка я тебя в сыскное. И должность важная, что у доктора, да и кормить будут получше, на казарменном они пайке стоят. Дадут карточку, к столовой прикрепят. Хоть тарелку щей нальют пустых и

то похлебка. Может с одеждой у них туговато сейчас, в своем ходят, ну ты и так одет, что франт. Не скоро износишь. А устроить — устрою, потому как в уборщицах работаю в тюрьме, да и с сыщиками знакома. У нас в доме они живут.

Костя так и сапог из руки выронил.

— Не хочу я, — буркнул хмуро и даже с долей злости. — Вон сегодня возле собора мальчишка в карман к старухе забрался — что же такого заморыша я должен тащить в кутузку. А он есть хочет, одеться может хочет. А наверняка, ни отца, ни матери, поубивали, может, их на войне. Кто же кроме него самого позаботится?

Александра Ивановна выслушала спокойно и махнула рукой. И даже усмехнулась, как видно уверенная в том, что все будет так, как она решила.

— Должность важная. А что мальчонку — имать надо. Ну-ка он у меня вытянет деньги, которые я выручу за пальто, или масло стянет, которое ты привез из деревни. Или мать приедет на Мытный продаст петуха, хвать-похвать — а денег нет, у мальчонки уже деньги. Что же рада будет твоя мать? Кто ей обиженной поможет? Сыскное... А ну-ка не будет сыскного, что тут у нас сотворится, раз сейчас и то порядка мало...

Костя уже молча стягивал второй сапог. Слушать тетку Александру стало вроде бы интересно. Верно — если будут тащить деньги из карманов — что же станет. А если никто в сыскное не пойдет — разор наступит. Верно, как сказал мужчина возле собора, нагишом побегут люди и на «караул» никто не отзовется. А Александра Ивановна все также спокойно, как скажем дятел, тюкала и тюкала словами:

— А паек дают приличный. Самому хватит и матери кой-что пошлешь. Даже ландрин-зубодер дают. Девку свою угостишь, вот уж обрадуется, сразу же шелковая станет. Имеется она наверное у тебя?

— Ну что вы, Александра Ивановна, — ответил и покраснел.

А она хмыкнула: мол, все понятно. Но больше ничего не сказала, ушла в свою комнату. Оттуда, спустя немного, с кряхтеньем укладываясь в свою кровать, посоветовала:

— Только и есть, что не форси вроде моего Тихона. Грабители в него пистолеты, и он свой пистолет ухватил.

Послышались тихие всхлипы и оханье. Жалела тетка Александра своего мужа. Не могла без слез вспоминать его.

Костя тоже попытался вспомнить дядю Тихона, потом представил как, причмокивая, будет хрустеть ландрином Мария Семенова, засмеялся в подушку и тут же заснул.

5

После завтрака, Александра Ивановна повела Костю к «ее знакомому из сыскного», жившему на втором этаже «дома сыщиков», в конце длинного и темного коридора. Им оказался мужчина с утиным носиком, крохотными и черными, как у птички, глазками, выпяченной нижней губой. И сегодня на нем были красные бутылками сапоги, выгоревший пиджак, косоворотка с яркими белыми пуговицами, только расстегнутыми. Фуражка с прогнутым козырьком висела на стене, за спиной, на крючке. Темные волосы на голове были острижены коротко. На лбу, под глазами, в углах рта разбежались морщины и весь-то он показался Косте усталым, замученным. Будто всю сегодняшнюю ночь или таскал поклажи на спине, или копал в огороде землю, или рубил дрова. А может даже за ночь заболел чем-то.

Сидел он, положив нога на ногу, склонив голову на левое плечо, глядя перед собой в стену, на которой кружевами плелись иконы, одна меньше другой, одна ярче другой. Стукал пальцами по клеенке, разрисованной ликами каких-то святых, как на иконах, отчего тоненько подрагивала ложечка в чайном стакане. Казалось, собрался уходить, да вдруг чутьем догадался, что должны придти гости и вот остался, сидит.

В соседней комнате бродила, тоже вчерашняя знакомая, старуха в длинной красной кофте. Она плескала воду из медного ковша в горшки и кадки с цветами. Ими была заставлена вся комната, от окна до окна. Тетка Александра сначала приветливо поздоровалась с ней, назвав ее Варварой Карповной, а уж после обратилась к мужчине.

— Здравствуй, Семен Карпович, — проговорила почтительно, — вот тебе привела работника для сыскного. Работник будет что надо.

— Сыскного нет, — сумрачно ответил мужчина и перестал стукать пальцами по столу, зорко разглядывая Костю с ног до головы, так словно бы и не встречались они раньше.

— Ну, я так уж, — поспешно поправилась женщина, — по старинке живу.

— А есть губернское уголовно-розыскное бюро, — поднял назидательно вверх палец Семен Карпович. — Запоминай, Александра, раз с агентами в одном доме живешь, да к тому же служишь в каторжной тюрьме.

— Ну, все равно, — заторопилась Александра Ивановна, — посмотри, парень какой. Румянец на щеках, плечи что у мужика. Все двадцать лет дашь, не то что семнадцать. В батьку он, в Пантелея. Тот тоже был мастер — что тебе борова завалить под нож, что избу накатать. Знавала больно хорошо как муж подруги, ну стало быть матки его вот. Погиб он у него на войне. А матка — крестьянка, из бедных. Курей немного да коровенка. Домишко хуже не присмотришь, того и гляди завалится на бок, кувырнется.

— Ладно напевать, — прервал ее уже добродушно Семен Карпович. — А откуда он про наше уголовное ремесло прослышал? Знает ли, чем мы занимаемся?

Костя замялся, а Александра Ивановна, оглянувшись растерянно на него, заговорила быстро с чудным хихиканьем, будто юродивая:

— Скажешь ты, Семен Карпович... Чай, ворья в деревнях не мало. У нас в Фандекове в начале войны, помню, цыгане два дома разворовали, у Семенова мельника, да у Плигиных, у богатых мужиков. Все что было из барахла ценного, увезли, да не успели расторговать — разыскали быстро. Так что знает он про ваше ремесло, слышал да видел, раз и глаза есть у парня, да и уши тоже.

— Сказано что нет сыскного, — буркнул опять Семен Карпович, — а ты твердишь одно и то же. Переучивать надо слова, раз новое время наступило. Парень-то сам как понимает наше дело, соображает, что ему придется у нас делать. Не дратву сучить, и не навоз кидать вилами...

Костя пожал плечами, сказал, стараясь быть спокойным, стараясь скрыть непонятно откуда родившееся волнение в душе:

— Так и верно ворья везде много. Знаю, что надо с ними делать. Надо их имать...

— Имать, — захохотал с присвистом Семен Карпович и глазки совсем уплыли под набухшие воспаленные веки. Он даже от удовольствия топнул сапогом и убрал колени под стол, раскинул локти на клеенке, продолжая теперь уже весело разглядывать и его и Александру Ивановну. Старуха с темным лицом появилась в дверях, улыбаясь.

— Имают, брат, чижа. Один стукнет битой, а другой лови его. Не-е-т...

Тут Семен Карпович опять поднял палец вверх и уже наставительно прибавил.

— У нас не имают, а задерживают. Мол, чинами розыска задержаны аферисты, или там громилы, или проститутка-хипесница. Есть такая категория гулевых дам. Ну, ладно... Разве что ради твоего Тихона, Александра Ивановна. Хороший был мужик и сыщик что надо, не скоро такого обучишь как он, царство ему небесное.

Семен Карпович щепотью побросал по лбу и плечам пальцы, как окропил себя водой. Потом закрыл глаза, покачался, облизывая тонкие синие губы. И все ждал Костя, что сейчас он махнет на них рукой да еще притопнет красным сапогом и закричит:

— Уходите, мешаете мне отдыхать...

— Да и верно, — проговорил, открыв глаза и поудобнее устраиваясь за столом: — Парень что надо. Вчера шел — гляжу сидит на крыльце. Рост — в гвардию хоть сейчас, чуть не два поди метра, на цыгана схож — значит, горячий, смелый будет. А может и татарская есть кровь. Вон волосы-то как лакированные блестят, прямые да жесткие, как панцырь у жука...

— Ну полно тебе, — запротестовала Александра Ивановна, — какой тебе цыган, какой тебе татарин. Я его деда помню. Тоже из Фандеково. Такой же мужик, как и все. Извозом занимался...

Как не расслышал ее Семен Карпович, сказал задумчиво:

— Наш бывший начальник Бибиков кличку сразу бы дал — или «цыган» или «татарин»... Любил клички давать, что крестный отец всем сыщикам был. Подумал еще вчера про тебя — такого бы к нам в губрозыск. То-то был бы доволен наш новый начальник, — усмехнулся он с какой-то неприязнью. — Начнет вышагивать по каби-

нету, да ручонкой помахивать, да про революцию тебе лозунги сыпать горохом...

— Семен, — прикрикнула сейчас же тонким голосом старуха из комнаты, — договоришься ты, возьмут вот за шкирку, как Мартына Туркина. И что тебе неймется, как заладит, как заладит, что помело.

— Мартына Туркина, — ворчливо отозвался Семен Карпович и слегка вздрогнул от глухого звона упавшего в комнате медного ковша.

— Пугаешь все, Варвар... Вот что, — обратился он к Косте, — садись-ка к столу и давай попьем чайку, да потолкуем. А ты, Александра, можешь идти. Давай.

Александра Ивановна низко в пояс поклонилась Семену Карповичу и опять быстро оглянулась на Костю: под платком в больших выцветших ее глазах так и светилась радость и довольство.

— Иди, — проговорила с облегчением в голосе. — И слушайся, что тебе будут говорить, да подсказывать.

Подтолкнула его к столу, а сама спиной открыла дверь в коридор. Хлестнул оттуда через открытое окно порыв жгучего с пылью ветра, заставив Семена Карповича проговорить задумчиво:

— Экие ветры свистят по земле. Поди как при Ноевом потопе. И жара не унимается. И не вспомнишь, когда на моем веку было еще такое засушливое лето. Вчера на станции баба от пека померла. Сидела-сидела на камешке, да вдруг как клюнет носом. Глядят, рядышком кто обитался, а она и рот разинула, что рыба на песке, а из носу кровь. Да тут же в комья ссохла, запеклась. Сладко померла, что вздохнула. А еще девчонка протянула ноги, так, веришь ли, от этой жары живот что барабан раздулся...

— Да уймись ты, Семен, — негромко попросила из комнаты старуха. — И к чему пугаешь молодого человека.

— А ты, Варвар, подай-ка нам лучше стакан, да там с селедочкой хлеба кусок. Устроим праздничек, как полагается у православных.

— Я один живу, вон с сестрой Варварой, — сказал он и вздохнул тяжело. — Ворчит. Со всеми в доме бранится. Потому и Варваром называю. Но старуха она добрая, радушная...

— Как тебе, Семен, не стыдно, — вошла в комнату с подносом старуха, — как ты меня гостю представляешь.

— А как же еще, — язвительно отозвался Семен Карпович. — Мол, графиня фон Варвара Карповна Шаманова, помещица и дворянка, римско-католического вероисповедания, владелица аэропланного завода.

Старуха лишь махнула рукой, загремела дверцой буфета, доставая позванивающую посуду. А Семен Карпович опять погрустнел:

— Жена у меня там, — поднял он палец к потолку, — а сын в армии служил прапорщиком. В мировую с Брусиловым австрийца гнал, а сейчас и не знаю где. Разлетаются люди друг от друга в такой толчее, что пушинки от тополя. И не сыщешь по всему свету. Вот и он два года ни слуху, ни духу. Что жив — сообщал, а где и с кем — неведомо. Может и мировую революцию варит, как пишется в газетах. Я ведь люблю читать — хлопнул он тут по газетному листу, лежавшему возле самовара, на конфорке которого выгнул рыльце расписной чайничек.

— Чего только в них не узнаешь. И на юге фронт, и на севере, и на востоке, и на западе. И Юденич, и Колчак, и Деникин, какой-то Махно. Каких только фамилий нет. А Ульянов, день и ночь, поди, над картой. Не знает за какой конец ухватиться... Ты об Ульянове-то слышал ли?

Костя кивнул головой.

— Ульянов — это Ленин Владимир Ильич, — ответил. — Вождь мирового пролетариата, главный человек в рабоче-крестьянском правительстве. Знаю, как же...

— Ленин — это кличка, — наставительно поправил его Семен Карпович, — а настоящая фамилия, по родителям стал быть — Ульянов. Кличку он придумал еще до революции, чтобы от политического сыска скрывать себя. Ну, а мы уголовные сыщики политикой не занимались. Нам подавай аферистов, «домушников», «тряпичников», «кошатников» — ну, значит тех, кто за горло в темных переулках берет прохожего. Политическими занимались у нас в городе другие, а нам за них приписали.

Появилась Варвара с подносом, сказала укоризненно:

— Нет, ей богу, достукаешься ты, Семен, с такими разговорами. Вот как возьмут за шкирку, сразу вспомнишь меня — мол, добра желала...

— Опять Мартыном припугнешь, — косо глянул на нее Семен Карпович. — Так это ни к чему мне... Туркин сам виноват, — продолжал он, уже обращаясь к Косте. — Был такой агент розыска. Красивый парень, кудрявый. Начался мятеж, и уж очень он загорелся помочь офицерам. Выдал им самого главного у красных в городе комиссара. Белые этого комиссара к стенке во дворе гостиницы «Царьград», есть у нас такая, может слышал. Переменилась власть, пришли опять большевики и этого Мартына Туркина заодно с офицерами возле театра пулей в лоб или куда там неведомо. Не лез бы, осел, — прибавил ворчливо. Он налил из самовара кипятку, прибавил чаю, вскинул привычно палец с желтым ногтем:

— Уголовный сыщик политикой не должен заниматься — вот тебе мой первый урок, Константин. Он тот же доктор. Его забота лечить и только. Ну, у нас лекарство, как сам понимаешь — дом лишения свободы. Раньше каторжная звалась, а теперь новое звание...

Он придвинул тарелочку, на которой, заставив Костю жадно сглотнуть слюну, переливался маслянистым жиром кусочек селедки:

— Пей чай, и ешь... В конфетнице сахар и ландрин.

— Да я же пил у тетки Александры, — начал было испуганно Костя. Семен Карпович небрежно отмахнулся:

— Ничего. У тетки-то с морковью, а у меня чай из Китая привезен, настоящий.

Внимательно следил, как пьет Костя чай. Потом тихонько покряхтел, пригубил из своего стакана. Полез в сахарницу за розовым ландрином. Хрустя им, тупо с минуту смотрел на свой стакан.

— А я вот, голубчик, иконы и цветы развожу. Одна утеха и весь дом в этой забаве. Иконы да цветы, может быть, и хранят меня. Иконы — это значит святые берегут от кастета там или фомки с ножом, а цветы кислородом поят. У садовника московского выписывал их. Самые нежные, самые элегантные, самые ароматные, самые изящные. Как о красивых женщинах писал садовник о цветах в своих афишах.

Он весело подмигнул Косте:

— Ишь раскраснелся, как молодица. Фамилия-то как тебе по родителям?

— Пахомов, — повторил уже задумчиво, барабаня пальцами по столу.—Агент розыска Константин Пахомов.

Черные глаза его заблистали, точно он прослезился вдруг от избытка чувств. Да еще потер ладонями щеки, переносицу, как бы стирая эти невидимые слезы. Вынул из бокового кармана квадратный серебряный портсигар, щелкнул крышкой. В портсигаре россыпью темнела махорка, слепились в один ком окурки.

— Приходится и окурки беречь, — сказал, вытаскивая один из них. — А ты куришь? Нет. Ну и ладно. Курево на твое усмотрение. А то ни табаку не стало, ни спичек. Вчера забрали на вокзале бродягу, торговал фальшивыми спичками.

Он захлопнул опять портсигар, сунул его в карман. Пощелкал ногтем по лацкану пиджака — портсигар сквозь материю отозвался глухим звоном:

— Ношу такую тягу от ножа, да от пули. И пуля замякнет и нож согнется. И хранит меня пока господь бог, да судьба, да иконы, да цветы, да портсигар. Было одно дело — фомкой ткнул в грудь меня церковный вор по кличке Мичура. Среди ночи, ну это нас оповестили, осведомили, схватил я его у кладбищенской ограды возле церкви. Дескать, куда тебя нечистая понесла. А он меня в грудь фомкой. Там на кладбище и слег бы в тот раз. Получилось бы что сам того пожелал. Но с той поры вот и таскаю портсигар, где бы ни был. Талисман...

Он похлопал Костю по плечу:

— Нравишься ты мне, парень, — и трудно было понять по правде говорит он или просто посмеивается. — Ну и поблагодарит меня Яров за такого агента. Сам-то он из студентов, потом вольноопределяющимся в армию пошел. Вон был Бибиков. У этого я в учениках начинал. Так и посмотреть было на что — громадина, усы что хвосты кошачьи, глаза зверские, на переносице у него от этой злости даже желвак народился, как бугор. А говорил с нами, когда главным стал в сыске — к старости это уже — только по делу. Или ругнет кратко, или похвалит. А как похвалит — вынет бумажник, отсчитает несколько бумажек, скажет: «От меня за службу»... На пролетке всегда приезжал в сыскное. Три дома своих имел в городе, да церковку у реки со своим попом. Критики на себя Бибиков терпеть не мог, чуть что и кулаком заедет по роже. Зато он тебе за работу какую удачную двойной, а то и тройной гонорар. Мол, не сердись... Уважали его. А как началась революция —все свое побросал, сбег ку-

да-то. Может быть тоже где-то его за бесписьменность и праздношатательство хватают агенты...

Он улыбнулся, помолчал. Наверное, увидел этого Бибикова. Опять нахмурился:

— А Яров не знает даже, что такое отмычка, составить протокол правильно не смог бы. Только и есть, что лозунгами нас крестит. Мол, вы должны быть культурными, ласковыми с арестантами. Ведь они люди тоже...

— Люди, — ухмыльнулся зло Семен Карпович, — таких людей в хлев толстыми кнутами загонять надо, да из одного корыта поить бурдой, да почаще лбы выбривать, как каторжникам...

— Семен, — как простонала из комнаты старуха, — да уймись ты.

— Цыц, ты, — хлопнул с торопливой поспешностью Семен Карпович по столу и теперь горечь плеснула в поблескивающих капельках глаз:

— Новый розыск обещает испечь Яров. Мол, как шелковые будут агенты, дескать епархиальное училище для благородных девиц станет, а не сыскное. Надо, значит, прожженного вора или громилу под ручку... Только набери таких желторотых вроде тебя — кто бандитов ловить будет. Вон вчера одного молодого милиционера подстрелили. Взял он на станции налетчика и повел в милицию. А тот ему — резреши домой зайти, с семьей попрощаться. Разжалобил, слезливый больно парень оказался. Думал, что бандит этот — человек добрый. А в нашем деле нельзя слюни распускать...

Тут Семен Карпович сокрушающе хлобыстнул кулаком по столу. Зазвенели чашечки да ложечки, сорвалась, как от ветра крышка с сахарницы, покатилась со стола на пол, а по полу к порогу.

— Господи, — донеслось опять из комнаты, — уеду я, Семен, если ты так буянить будешь. А то ведь и председателю домового комитета пожалуюсь... Он тебя постыдит...

— Не буяню, а учу, — ответил Семен Карпович, нахлобучивая снова крышку на сахарницу. — Яров что ли научит его нашему букварю. А ведь и ему придется водить шпану, обязательно, а раз так — пусть наматывает на ус. Так вот, привел он налетчика домой. Порылся тот в своих барахлишках, пошушукался с женой, потом выходит «смит и вессон» в грудь милиционеру, хлоп — тот

и копыта по сторонам. А налетчик смылся — где найдешь, коль вся Россия нынче, как котел с картошкой в кипятке. Может, у Колчака уже, а может просто на большой дороге разбойничает. Или фальшивые документы достал да сидит каким-нибудь казначеем в банке... Хе-хе-хе, до поры до времени.

В животе у него вдруг забурчало, завыло. Семен Карпович замолк сразу, склонил голову к столу как прислушивался к этому вою. Покачал головой, пожаловался:

— Кишки у меня тонкие стали, Константин. Потому что служба такая, чаще всухомятку, а то и воды одной нальешь в себя за день. По суткам бывало сидишь где-нибудь, ждешь рецидивиста. Он в это время в ресторане шампанское хлещет, да осетриной обжирается на воровские деньги, а ты в закуточке темном скрипишь зубами от голода, рад квасу из хлебных корок... Да-а... Склонен к кутежам и вращается в ресторанах, — как писал я, бывало, в протоколах...

Он встал, надел фуражку и первым шагнул в дверь, в струю теплого, как из печки, воздуха. Бормоча что-то под нос, спустился по лестнице, а на крыльце, в сердцах, сплюнул. Наверное, от боли в кишках, или же весь этот разговор омрачил его.

Во дворе, возле ворот, стояла Александра Ивановна с какой-то женщиной. Увидев Костю, округлила испуганно глаза, перекрестила его быстро.

— Чего трясешь пальцами, — закричал Семен Карпович, не то сердито, не то шутливо. — Религии тоже конец пришел, а ты его осеняешь знамением своим.

— Так ведь на должность пошел парень, — робко глядя на него, проговорила Александра Ивановна. — Добра желаю ему и чтобы служба ладилась.

— На должность? — задержавшись на секунду, задумчиво повторил Семен Карпович. — Это ты верно, Александра Ивановна. Стоит и перекрестить, как всякое в нашей профессии, бывает. Не лишнее...

6

Губернский уголовный розыск размещался в каменном двухэтажном здании неподалеку от центральной площади города. Вход был со двора, в двери, половинки

которых с визгом болтались на ветру. Через двор, где раскачивалось на веревке залатанное белье, под конвоем парня в солдатской фуражке и штатской тужурке, шел бородатый мужик. Заложив за спину руки, покручивая головой, как паралична...

— Вот видишь, — заключенных из каземата через белье водим. Тут у нас всяких историй творится. Позавчера шкет упер с веревки газовый шарф. Хорошо жиличка из этого дома, где живет, увидела, выбежала, да прямо при конвойном нахлестала по морде шкета... Порядка мало, что и говорить.

Семен Карпович вздохнул и стал подыматься по железной лестнице, звякающей под каблуками. Возле двери, обитой клеенкой, остановился:

— Здесь арестованные содержатся. Как возьмем преступника, так сюда для предварительного дознания. Если чистый, вроде стеклышка, отпустим, а виновен — ведем или в каземат или в каторжную тюрьму, ну, как я тебе говорил, в дом лишения свободы. А некоторых в лагерь на Зеленом поле, за проволоку. Слышал, может?

Он открыл дверь, так и не узнав — слышал ли Костя про этот лагерь на Зеленом поле. Комната, куда они вошли, была полутемная, со сводчатым потолком, полная табачного дыма, приглушенного стука, говора... У входа сидел тоненький кудрявый паренек, вскочивший при их появлении, осклабившийся Семену Карповичу по-приятельски. Совсем подросток с блестящими бараньими глазами, одетый в военное обмундирование, в солдатских обмотках и ботинках на толстой подошве.

— Громилу взяли? — осведомился он, разглядывая с любопытством Костю с ног до головы. «Ну смотри, парень, — говорил его взгляд, — не поздоровится тебе, раз попал в эту комнату»...

Семен Карпович насмешливо посмотрел на него, проговорил уже серьезным тоном и как начальник:

— Громил ты, Глебов, уж сам води за спиной. Мне голова еще пока не лишняя... Что тут у вас за шум?

В углу, отгороженном от остальной части комнаты деревянным барьером, сидел со связанными руками и ногами маленький молодой мужчина лет тридцати в поношенном мундире с медными пуговицами — точно какой чиновник. Лицо вытянутое бурое, на голове редкие и желтые, как пух цыпленка, волоски. К печи, выложенной

изразцовыми плитками, прижалась девица, длинная и тощая, толстоносая, толстогубая, с глубоко запавшими щеками, осыпанными прыщами, в драной блузке, помятой юбке и туфлях на босу ногу. Был здесь еще один вчерашний знакомый жилец из «дома сыщиков» — мужчина в белой рубахе, с закатанными по локоть рукавами, в серой мохнатой кепке, из-под которой выбивались на лоб завитки рыжих волос. Семен Карпович поздоровался с ним за руку, потом с белокурым парнем, писавшим что-то на бумаге за столом, длинным как кровать, из красного дерева, с многими ящиками.

— А больше ничего сказать не могу, — воспользовавшись тем, что белокурый парень отвлекся, проговорил плакучим голосом старик, сидевший напротив него, на табуретке. — Только и видел патлы — черные, как грива. Прямо из руки выдернул платок с деньгами и в народ.

— Огурца где взяли, Николай Николаевич? — спросил Семен Карпович мужчину в белой рубахе. Тот оглянулся на сидевшего за перегородкой с угрюмым выражением на лице.

— Сам можно сказать пришел, — ответил усталым голосом и поморщился, как от зубной боли. — Взял да и пристрелил сегодня на утре в Соленом ряду своего дружка Васю Шило. Играли в карты, пили спирт, вдруг вытянул револьвер и в лоб, как в мишень все равно. В аккурат посередке.

— Он паразит потому что, — закричал мужчина, внимательно слушавший слова Николая Николаевича и навалился плечом на барьер. Злоба засверкала в глазах под жиденькими бровками, руки задергались, пытаясь освободиться от веревки, — он мое гвардейское сукно продал, а деньги пропил да пронюхал на кокаине у Таньки Скворцовой. Я просить стал добром, а он меня послал...

Тут мужчина выразительно похлопал связанными руками по спине. Девица рассмеялась коротко и тут же замолчала.

— Самое интересное потом, — продолжал, все так же нехотя, с недовольной гримасой на лице Николай Николаевич, — пристрелил, допил из германской фляги и тут же, рядом с убитым спать завалился. Пришли на шум, добудились, а он кулаки в ход. Вот и связали. Пока везли на подводе по городу, раза два пытался вывалиться на мостовую головой.

— Так пора развязать, — опять закричал мужчина, — не старый режим. Вот напишу заявление Ярову, узнаете тогда. Он вас в трибунал.

— Уж не шляпу ли перед вами ломить, господин Огурец? — проговорил насмешливо Семен Карпович. Он подошел к барьеру, встал вполоборота, заглянул сверху на арестованного. Тот усмехнулся и, вскинув высоко голову, насвистывая, задергал плечами, как отгоняя невидимых комаров, или изображая какой-то странный танец.

— А Колю вы, господин Огурец, не видели случайно? — спросил Семен Карпович. — Ну, на вокзале или в притоне каком. Может в картишки с ним даже перебрасывались. Может даже просадили ему церковный «воздух», который наковыряли вместе с Мичурой в Успенской церкви. Тот уже хлебает баланду в каторжной тюрьме, как тебе, наверное, известно. В который раз я сажаю его за эти церкви и никакого исправления. Как магнитом тянет к попам. Везет только: то мировая война освободит, то одна революция, то вторая, то офицерский мятеж. Прямо в рубашке родился твой Мичура. Тебе уж так, наверное, Огурец, не повезет. Жаль, что не в Чрезвычайкоме ты сидишь, а то бы за убийство они тебя без разговоров... Так как насчет Коли?

Мужчина пожал плечами, и, несмело улыбаясь, ответил:

— Мы, Семен Карпович, люди маленькие, и вы меня на мульку не берите... Сукно стянуть можем, не отказываюсь, или святых обшарить, признаюсь тоже сразу. А Коля — чин высокий в нашей работе, король.

Семен Карпович вроде как бы благодарно качнул головой и обернулся к девице, с открытым ртом внимательно слушавшей разговор. Увидев на себе взгляд агента, она перестала трясти, стоптанной туфлей, поддернула юбку на голые, натертые до красных синяков, колени.

— А ты Нинка-Зазноба за что здесь?

Девица теперь совсем приосанилась, сердито тряхнула лохмами волос:

— А спросите их, — сказала она и махнула рукой на Николая Николаевича и белокурого парня, все еще усердно записывающего показания хнычущего старика. — Чалят мне какого-то фрея...

— По подозрению за кражу кошелька, — пояснил Николай Николаевич. — На сходе с трамвая пропал у кра-

сноармейца из пиджака кошелек, а рядом терлась Нинка-зазноба. Ну, красноармеец и цапнул ее. Шахов тут как раз оказался на остановке. Вот он и привел.

— А кошелек нашли у меня? — закричала девица. — Нет? Тогда отпускайте. А то пожалуюсь Ярову, узнаете как безвинных обижать.

— Все пугают Яровым, — шлепнул себя по ноге ладонью Семен Карпович, — ну, прямо Илья Муромец у шпаны объявился или Алеша Попович...

Нинка-Зазноба вдруг заплакала. Растирала слезы на щеках кулаком, говорила дрожащим голосом:

— Что бездомная я, это верно, в притонах ночую, а воровством не занимаюсь...

— Знаем, чем ты занимаешься, — грубо оборвал ее Семен Карпович, так что девица сразу перестала всхлипывать и откачнулась к печи, снова прижалась острыми лопатками спины к ярким изразцам, — «притырила гражданина»... Еще бы, — уже иронически оглядел он ее ноги, — такая девочка прижимается. Тут у меня тоже кровь бы закипела в жилах. Ах, мол, — разомлеет гражданин, а «ширмач» тут как тут: «куплена кожа». Так что ли, Нина?

Девица вытерла щеки и не ответила. Запела негромко себе под нос, смотреть стала на окно. Можно было подумать, что одним разом вычеркнула всех присутствующих, а может притворилась глухой.

— Ее бы надо порасспросить, — посоветовал от дверей кудрявый, — ясно, что кто-то да был с ней.

— Вот и займись этим, — приказал Семен Карпович. — Эй, Шахов, — позвал он белокурого парня. Тот вскинул голову, сунулся вперед и по одному этому Костя понял, что эти парни здорово уважают и даже, может быть, побаиваются Семена Карповича.

— Брось ты мытарить старого человека. Коль с гривой да черной, так не иначе как Зюга. Живет мальчишка в железнодорожных вагонах. Возьми Глебова и поезжай туда. Если там нет, заверните на толкучку. Если не в вагонах, так на толкучке, не на толкучке так в вагонах вшей разводит.

Парень щелкнул ручкой о крышку чернильницы и шумно вздохнул. Непонятно было — доволен ли он советом или огорчен. Семен Карпович пошел к выходу, пома-

нив за собой Николая Николаевича и Костю. Напоследок посоветовал оставшимся в дежурке агентам:

— Да Огурца развяжите, и верно не старый режим. Чего доброго и правда пожалуется Ярову.

В коридоре, гулком и холодном от толстых почерневших стен, он сразу стал озабоченным. Застукал каблуками мимо дверей, на ходу перебирая пальцами пуговицы пиджака.

— Думаешь опять начнет? — спросил Николай Николаевич, сочувственно заглядывая сбоку в лицо Семену Карповичу. — Опять за Артемьева? Эх, черт. Ну, не дай я промашки весной на станции — не было бы сейчас этой мороки. Ведь вслед смотрел. Уж очень ненормально он шел, все прямится как-то. Думал, зачем он прямится? А это, чтобы сутулость свою поправить, скрыть от меня. Ну и артист... И главное приметы те же — что лицо, что одежда — черная каракулевая шапка и воротник из каракуля.

— Ладно уж, — с какой-то недовольной нотой проговорил Семен Карпович, — чего теперь. Вон румынский консул из гостиницы «Царьград» пропал, так не вздумал бы Яров на меня взвалить это дело.

Он постучал в дверь, рядом с доской, на которой белели листки приказов и, не дожидаясь разрешения, вошел.

Эта комната была просторнее, светлее, с круглым столом возле окна, с этажеркой, на которой навалом лежали папки, книги, газеты. На стене — портрет Ленина в красной рамке. Вдоль стены диван и три венских стула, сдвинутые кругом. На диване разговаривали двое: бородатый мужчина лет сорока в солдатской шинели, сапогах и высокий плечистый парень с черными красивыми глазами, розовым шрамом от лба до левого уха. За столом, под телефоном, еще один человек: коренастый, с чубиком светлых волос — на вид не больше двадцати лет. Глянув на вошедших, он поднялся со стула, надел защитного цвета военный китель на плечи и застегнул пуговицы гимнастерки. Внимательно следил за тем, как рассаживаются вошедшие на диване, останавливая пристальный взгляд то на одном, то на другом. Потом снова сел и придвинул к краю стола бумажку:

— Вот пришла вчера вечером телеграмма из Центророзыска. Требуют ускорить розыски похищенного из ин-

тендантского склада. Из Губкома сегодня звонили. Мол, чем вы там в бюро занимаетесь...

Говорил он громко, как будто все слушавшие его страдали глухотой, и постукивал пальцами по столу. Смотрел почему-то только на Семена Карповича, сощурив глаза, жестко. Тот слушал внимательно, склонив голову и даже видно было, как на короткой коричневой от загара шее бьется мерно голубая жилка, как вздрагивает время от времени заросшее волосом ухо.

— Им хорошо говорить, — тихо заметил Николай Николаевич и погладил вихры на затылке. — А попробовали бы? А что вы им ответили, Иван Дмитриевич?

— А что я отвечу! — воскликнул все так же громко Иван Дмитриевич и подскочил как на пружинах. — Сказал, что весь состав на ногах, ищут. Да только ищем ли мы? За неделю лишь одну кражу муки из вагона раскрыли и то с помощью собаки.

В голосе его послышалась ирония. Губы, пухлые и розовые, дрогнули в усмешке. Прибавил — уже тише и все так же язвительно:

— Конечно, проще беспризорников забирать, да просящих подаяние...

— Так научите искать, Иван Дмитриевич, — попросил Семен Карпович, прищурив сердито глазки. — Может каким-то новым способом, по-грамотному. Только вы знаете, наверное, что позавчера на Борисоглебской улице в меня стреляли. Слава богу, что раньше успел упасть.

Иван Дмитриевич опустился на стул, сдвинул пальцами чубик в сторону, открыв широкий белый лоб.

— Яров обижать вас не собирается, товарищи, — сказал уже тихо и голос теперь стал мягкий. Теперь это был совсем мальчишка, непонятно почему сидящий в этой комнате, за таким красивым столом, возле огромного телефона, с бумагами под локтями.

— Только, — продолжал уже каким-то просящим тоном, — поймите, что дело-то далеко зашло. Знаете, что народ говорит: не сами ли власти растащили продовольствие, а валят на банду Коли. Может сам Артемьев и пустил этот слушок. Шутка ли — мука, ландрин, махорка — не кошелек из кармана. На лошади увозили, и где она эта лошадь?

Агенты слушали молча. Семен Карпович смотрел на крест церкви, в небе над Мытным двором, то вспыхива-

ющий золотом, то гаснущий, точно мгновенно сожженный огнем. Николай Николаевич потирал затылок — как видно это была его любимая привычка. Костя пугливо озирался по сторонам, чувствуя себя в этом кабинете чужим, ненужным. Захотелось встать и осторожно уйти в коридор.

Вдруг Яров как бы только увидел Костю:

— А этот парень зачем здесь, — отрывисто спросил он, — из газеты опять? Так происшествий крупных пока нет...

— Не газета, — ответил за Костю Семен Карпович. — На работу привел, на место Листова. Сами же вы просили нас подбирать молодых крепких ребят, преданных революции, как вы изволили выразиться. Вот и выполняю приказ, подыскиваю. Парень Пахомов трудовых кровей, из крестьян, сообразительный. Послужит рабоче-крестьянскому правительству на совесть.

Яров одобрительно качнул головой, улыбнулся Косте как старому знакомому. Продолжал он теперь с агентами разговор как-то вяло, нехотя. Лепил слово на слово с длинными паузами. Казалось, заранее заучил он все это, да вдруг позабыл и с мучительным трудом припоминает, что сказать в этом месте, а что сказать в другом.

— Я пригласил вас, Семен Карпович, в розыск для того, чтобы вы наладили работу, чтобы нашли Артемьева, Гордо, Маму-Волки. Идет время, а кончика нет, даже паутинки. Таскаете мелочь вроде Мичуры, да беспризорников с Толкучего рынка...

— Это верно, — угрюмо согласился Семен Карпович, — нет паутинки. Но Мичура тоже уголовник и брать его надо. А если вы считаете, что старшие агенты Шаманов и Николай Николаевич — Пинкертоны, так это Иван Дмитриевич, ложный след, это можно сказать революционное заблуждение. Найти опытного рецидивиста это не понюшкой зарядить нос. Да еще какие у нас стали условия...

И заговорил, все более озлобляясь:

— Все что было, растерялось. Опытных сотрудников разогнали, криминалистов нет, фотограф неумелый. Комнаты ему нет и смехота — выводит фотографировать преступников на балкон, дело ли это? Нет в розыске захудалой лошаденки с пролеткой, ходим в допотопном обмундировании — вытянул он тут свои ноги в красных бутыл-

ками сапогах. — В них не то что ловкого преступника, старуху стогодовалую не догонишь...

— А вчера, — не обращая внимания на тихий смех Николая Николаевича, продолжал он, — докладывали вам, наверное, что бабенка, взятая по подозрению на кражу, едва не удрала. Хорошо, что побежали вовремя Глебов с Шаховым на Мытный двор и успели царапнуть ее обратно. Ей, видите ли, захотелось посмотреть, чем торгуют на рынке деревенские мужики. Сообщите об этой истории в Центророзыск, так там два дня смеяться будут, да еще приказ отдадут на «черную доску» Советской милиции...

— Ну, так сообщите, — обиженно сказал Яров, — что сидите, пойдите и пошлите телеграмму... Может быть и поставят нас на «черную доску», хотя я и не отвечаю за всю милицию. Но только добавьте, что я бьюсь во все двери, да без толку. Не дают ни досок, ни гвоздей, ни стекол. Знаю — нужно обмундирование, а не дают, пролетка нужна — не дают, электрические фонари требуются, сода — а где взять. И фотографировать преступников на балконе не дело, потому что взбредет иному в голову, скакнет на улицу, чтобы сломать ноги или голову разбить насмерть... Но это пока, товарищи, — уже опять громче и со стуком кулака по столу продолжал, — придет время, все у нас будет, все условия. А пока надо работать и с такими неполадками. На фронте, наверное, не менее трудно. Вон сообщение пришло из Насимовской волости. Поднялось восстание дезертиров, разоружена волостная милиция. Петр Михайлович оттуда только что вернулся, — кивнул он головой на бородача в шинели, — своими глазами видел он как горят сельсоветы...

Тут он опять подскочил как на пружине, оттолкнул ногой стул, с грохотом выскочил на середину комнаты. Был одет в солдатские широкие галифе, сапоги из яловой кожи. Поскрипывая ими, прошелся взад и вперед по комнате с сердитым видом, остановился около Семена Карповича, глядя на него сверху глазами требовательного начальника.

— Фронту все отдается, Семен Карпович, — и доска, и гвозди, и пролетки. Не говоря уже про автомобиль, о котором я тоже говорил в Губисполкоме и зимой еще в реввоенсовете Северного фронта. Не говоря об отдельной комнате для агентов розыска с постельными принадлеж-

ностями. Говорят — не до вас. Вон раненых везут и везут в город. А вы потерпите пока. Может и стреляют в нас, да не каждый ведь день.

Прибавил, уже с обидой в голосе:

— А Пинкертонами, Семен Карпович, нам надо быть. Ведь Пинкертон в нашем деле не что иное, как идеальный агент розыска. Просто надо работать по-новому, по-революционному, бескорыстно и честно.

Он собрал со стола фотографии, положил их на диван:

— Вот — с субинспектором нашли в коммунальном банке. Туда, оказывается, свезли часть бумаг из Окружного суда во время мятежа.

Парень со шрамом и красивыми глазами качнулся, лицо его расплылось в мягкой и дружелюбной улыбке:

— В подвал кинули. Да зачем-то известью осыпали. Поела эта известь здорово бумаги...

Семен Карпович разтрусил фотографии. На одной из них бритый наголо мужчина с буграми на висках и пронизывающим взглядом серых глаз. Как будто ненавидел он того, кто его снимал.

— Артемьев, — пояснил Яров. — Сторожа склада признали его на фотографии, хоть и усы нацепил, когда брал склад. И Маму-Волки, который их вязал, тоже признали. Ошибиться уж в этом парне трудно...

Он отложил карточку, взял в руки другую. Теперь Костя увидел парня с улыбкой, в распахнутой на стороны голубой рубахе. Смотрел он куда-то вверх, будто в небо, на пролетающую птицу, будто искал что-то необыкновенное. Белые пряди волос, как у женщины, спадали на уши, на шею.

— Ему бы в театр или кинематограф, — заметил с долей уважения Яров. — Был бы может артистом, Шаляпиным. Не такое трудное время, вывели бы в люди, на ноги поставили бы.

От этих слов Семен Карпович как-то невольно вскинул глаза, не сдержал усмешки. И также быстро пригнул голову.

— Зря вы улыбаетесь, — холодно сказал Яров и сдвинул сердито рыжеватые брови к переносице. — Это сейчас не до того: война, контрреволюция, голод. Это сейчас суровое наказание ждет всех грабителей и спекулян-

тов. В будущем каждого преступника, можно сказать, в микроскоп будем рассматривать...

Желая переменить направление разговора, Николай Николаевич заговорил:

— А вором он стал потому, что никем другим не стал. Учила мать его на скрипке — не вышел талантом. Бросил. Потом в художники решил записаться, тоже бросил. В магазин обувной отдала мать, так прогнал хозяин перед революцией. Потому что знакомой барышне задаром отдал башмаки. Еле еще мать отговорила хозяина — до суда было дошло дело. Парень красивый — любовные связи пошли одна за другой, а на это деньги нужны. Мамаша не графиня, простая провизорша. Один выход остался к деньгам — воровство. Так и пошел. Уже который год скитается по России, а у нас в Окружном суде не одно дело было заведено. Зимой в армию взяли. Даже с месяц в казармах занимался, а как на фронт подготовили часть, так в бега от воинской повинности.

— Вот Гордо я ни разу не встречал, — сказал, разглядывая третью фотографию. — Это откуда-то из Латвии прибыл. Зверяга, душитель такой, что перекреститься хочется от одной физии. Первая рука Артемьева. Про него говорят: убьет человека, перекрестится и скажет: «слава богу, еще одному помог избавиться от мук земных...»

— С виду как мясник, — вставил бородач в шинели.

И верно — длинная шея, на ней маленькая голова с вытаращенными глазами, жиденькая косица темных волос на узком лбу. Плечи узкие, а тело как воздухом надутое — мясистое, пухлое, руки длинные. На Гордо изящный костюм, серая жилетка, галстук с крупным узлом. По жилетке пробегала цепочка карманных часов, в пальцах левой руки дымилась папироса, нога на ноге.

Яров смел карточки в грудку и приказал деловым тоном:

— Размножить и раздать агентам. А парня этого, — тут он опять улыбнулся Косте, — надо взять. Образование, поди церковно-приходское один или два года? Научился расписывать свою фамилию и ладно по деревенской жизни?

Костя хотел сказать, что он считался самым грамотным на селе, что не раз его жители просили писать письма на войну своим родным. И что он многое от себя при-

думывал, потому что родные одно-два слова скажут и больше ничего не приходит в голову. А он писал, что нового в селе, у кого какая радость, у кого какая беда. Письма получались большие.

Но Яров не стал больше спрашивать, а наказал подружески:

— Дело в розыске трудное и опасное, учти это, Пахомов. Потому будь зорким, смелым, но и осторожным. Нам каждый агент сейчас на вес золота. Опытные разбежались, как справедливо сказал Семен Карпович, а молодые хоть и фронтовики — неопытные. Ну ничего, мы из молодых создадим кадры советских агентов уголовного розыска, честных, беззаветно преданных революции, бескорыстных, неподкупных. Так что ли, парень?

Удовлетворенный молчаливой и смущенной улыбкой Кости, Яров обернулся к Семену Карповичу:

— Передаю его вам, Семен Карпович. Пусть обязательство милиционера напишет. И на оклад временный, и на питание. И вот что — уже глухо добавил он, нагибая голову, как бычок — приходил вчера рабочий с Государственной махорочной фабрики. Стоял он день назад в вокзале возле касс третьего класса, ждал поезда. Подошел к нему гражданин, стал размахивать палкой, обозвал жидом и спекулянтом. Потом заставил идти в комнату для милиции, обыскал самого, вытряхнул чемодан. Ничего не нашел и даже не извинился...

— Это был я, — тихо и спокойно сказал Семен Карпович. — Это, действительно, жид и спекулянт. Его счастье, что был пустой на этот раз. Прикинулся он вам чистеньким вроде водички из колодца. А посмотрели бы, что у него я нашел прошлой весной в солдатском австрийском ранце...

— Я не знаю, что у него было в ранце, — нетерпеливо прервал Яров, — я знаю одно: вы оскорбили достоинство гражданина молодой Советской республики без всякого основания. Это уже равняется с преступлением по должности...

Увидев сдвинутые непримиримо брови Семена Карповича, вздохнул огорченно. Закончил, махнув рукой:

— Поймите на будущее, Семен Карпович, чтобы не было жалоб. А пока можете быть свободны...

Когда вышли в коридор, Николай Николаевич с виноватой улыбкой посмотрел на Семена Карповича:

— К фотографиям-то какие-нибудь следы бы...

Семен Карпович усмехнулся, выпятил капризно нижнюю губу:

— Фотографии ладно. Повеселил меня начальник: спекулянта в гражданины произвел, да и насчет Мамы-Волки распелся. Будто его можно в люди вывести, в артисты. Такого как Мама-Волки, — прибавил уже строго и убежденно, — одна могила выведет в люди...

7

В узком переулке, зажатом каменными стенами старинных домов, накрытом, словно платком, тенью высоких и массивных церковных ворот, колыхался, смеялся, кричал, плакал Толкучий рынок. Он смотрел на Костю глазами женщины в ночном чепце на голове, мужика с опухшим лицом, мальчишки с разноцветным тряпьем на руках, тонких, что палочки, парня на костылях с матросской рубахой на шее, старика с балалайкой, по струнам которой время от времени тенькал пальцами, сухими и дрожащими, фабричного с зажигалками, поблескивающими тускло, как патроны...

Рынок дергал его за рукава пиджака, тискал, совал в бока локти, давил ноги, сжимал грудь, так что захватывало дыхание. Он дышал в лицо воблой и сивухой, нафталином и духами, колесной мазью и керосином. Он умолял, звал, приглашал, сулил златые горы, едва не падал на колени...

Кричала женщина, быстро, по-птичьи, ворочая черную, то ли от грязи, то ли от загара, шею.

— Кофточка шелковая с заграничной прошивкой. Красота. Четыреста рублей.

За ее спиной бубнил старик:

— Махорку на хлеб... Кому махорку на хлеб...

Выплыло из толпы желтое лицо китайца-солдата в обмотках на ногах. Скалил зубы, такие желтые вроде бы как и лицо:

— Сахар нада? Сахар нада?

Мелькали перед глазами драные пиджаки, кепки, туфли бронзового цвета, залатанное тряпье, ярко сверкающие броши, камни, браслеты.

— Четыре с полтиной за сапоги... Четыре с полтиной...

— Что дешево больно?

— Охо-хо-хо... Ну, и недотепа. Четыреста пятьдесят значит. Иль из Турции приехала?

Еще один торговец преградил дорогу Косте, пробиравшемуся сквозь толпу вслед за Семеном Карповичем. Глаза злые и мутные, как у пьяного, под пиджаком голое костлявое тело, на ногах опорки, а в руках лаковые полуботинки.

— Эй, парень, махорки не имеешь?

— Я не меняю, — отозвался Костя.

Мужик — то ли он и правда пьяный был здорово, то ли умом тронутый — взмахнул лакирашками, закричал:

— Чего ты тогда, толсторожий фрайер, здесь шманаешься.

Кто-то в толпе сказал, вроде как с завистью:

— Разодет парень. Из властей, может кто? За губернатора может?..

— Не-е, — с ленцой отозвался еще один голос, —из сыскного, пожалуй. Тот что попереди с губой-то выдернутой — точно из сыскного. Ну, а этот знать с ним, в щенках ходит...

Лицо говорившего круглое сытое и улыбающееся миролюбиво, даже как-то подобострастно. Костя отвернулся, рывком раздвинул толпу, удивительно легко расступившуюся на этот раз перед ним. Догнал Семена Карповича, придерживающего под локоть мужчину, одетого в длинное и тонкое дорогое пальто. Бородка у гражданина клинышком, щеки холеные, шляпа что у важного господина, на сизом опухшем носу пенсне.

— Отпустили бы вы меня, Семен Карпович — упрашивал он скорбно. — С пьяных глаз я забрел сюда. А сахарок случайно достался мне, как все равно с неба манна.

— А это уясним сейчас, — пообещал Семен Карпович, вталкивая задержанного в маленькую будку возле церковных ворот. — Уясним, случайно или по другому как достался тебе этот сахарок.

Находились в будочке трое мужчин с кобурами на ремнях и две женщины. Они, как и сегодня утром Нинка-зазноба, растирали мокрые щеки кулаками. На пустом бочонке, пахнущем селедкой, на его грязном днище навалом пачки махорки, кульки, жакет дамский на белом меху, дамский корсет, фуражка защитного цвета, худые панталоны.

Семен Карпович отвел похожего на господина задержанного в угол и, притиснув его грудью к дощатой стенке, глядя ему пристально в глаза, спросил тихо:

— Ну, говори по совести, кто тебе ссудил сахарок. Не виляй, Киря, хвостом.

Задержанный шмыгнул сизым носом, поправил пенсне, зачастил торопливо и тоже тихо, чуть не на ухо Семену Карповичу:

— Ну, хоть на колени встану, Семен Карпович. Верьте хотите, хотите нет, а случайно достался сахарок. Зашел вчера вечером в чайную «Орел», сел за стол стакан кипятку выпить. А по соседству трое мужиков — кто не знаю. Ругаются, грозятся, вроде как делят что-то. Потом один мне и говорит: покупай сахар, товарищ хороший. Вот я и купил...

— Он был в фуражке? — спросил язвительно Семен Карпович. — Из интендантов?

Господин покачал головой:

— Вроде как в солдатской бескозырке.

— Лицо круглое без примет?..

И опять господин покачал головой:

— Пожалуй, что тощее лицо. А что без примет — верно...

— И уши у него длинные как у осла, — уже злорадно продолжал Семен Карпович.

Задержанный вздохнул, пугливо глянул на агента:

— Вот уши не знаю какие...

Семен Карпович не спеша забрал пуговицу на пальто у господина между пальцами. Тот мгновенно преобразился, посуровел — словно подменил его кто зараз:

— Опять вы мне собираетесь, господин Шаманов, обрывать пуговицы. Один френч вы мне однажды уже испортили такой забавой. И потом — он даже усмехнулся нахально — в уголовной милиции я выложу об этом Ярову. Он и вас как Терентия Листова в шею погонит из милиции за насилие. Мало вам одной истории. Времена теперь другие. Свобода. Да здравствует революция...

Господин вскинул вверх воинственно кулак и потрясенный Семен Карпович уронил свою руку. Пробормотал раздосадованно:

— Нет, ей богу, Алеша Попович объявился для шпаны и спекулянтов.

Он подтолкнул господина к бочонку, за которым сидел седоусый мужчина в серой толстовке.

— Вот, Иван Петрович, посмотри этого гражданина — сахар отобрал у него. Такая жара, а он пальто напялил на себя.

Тот кивнул и заговорил, обращаясь к задержанным:

— Люди страдают, а вы у них последние жилы вытягиваете. В десять раз дороже заламываете, своего же брата, трудового рабочего и крестьянина, обманываете. Вон сегодня ткацкая фабрика народ отправляет на баржах в Самарскую губернию за хлебом. Потому что дальше, как говорится, терпеть нельзя. Детишки пухнут, да чернеют. Может быть, казаки их всех порубают там в пшенице, а едут...

— Мы бы тоже поехали, — проговорила уныло одна из женщин. — Позвали и тоже, может, собрались бы в дорогу. Конец-то, чай, везде одинаковый.

Как не слыша ее, мужчина стукнул кулаком по бочонку. Женщина широко раскрыла рот, вдруг икнула. Костя едва сдержал себя от невольного смеха. Уж больно и смешно дернулась голова у тетки на тонкой шее.

— Карать будем строго, — продолжал говорить Иван Петрович. — Или не слышали про законы военного времени. Как с врагами.

— Слышали, как же, — уже с готовностью ответила другая женщина. — Мы бы рады, да...

— Рады вы, — уже тихо и сердито закончил сивоусый, — животы свои набивать. Ну-ка, гражданин, выкладывай, — обратился он к спекулянту, задержанному Семеном Карповичем.

Тот вздохнул шумно и принялся вытаскивать из-под пальто какие-то пакетики. Вместе с пакетиками появились на днище бочонка и пачки с махоркой, поблескивающие кольца, тяжелый браслет, не то медный, не то золотой.

— Вот тебе, — покачал головой сивоусый, — прямо ходячий ювелирный магазин. И все наменял за одно утро.

Спекулянт не ответил, а только зло покосился на Семена Карповича.

— Рады вы, — снова повторил продкомовец и кивнул второму мужчине, сидевшему с ручкой в руке и листком бумаги, молчаливо созерцавшему все происходящее в

этой будочке. Видно, это был писарь-продкомовец. Он кашлянул в кулак и придвинув поближе к локтю листок бумаги, стал записывать что-то аккуратно.

Когда протокол был составлен, Семен Карпович увел Костю из будочки.

— В Дом лишения свободы отправят их, — стал говорить, пробиваясь снова через толпу к улице. — А Кирилл Локотков продувной мужик. Надо будет уяснить — откуда у него сахар: может извозчики, или же складские рабочие, а может и Артемьев это ему ссужает награбленное из склада. Ну, следователь порасспросит, потрясет его. А там дело в народный суд пойдет, как улики налицо. За спекуляцию самое малое отправят на принудительные работы копать ямы, разбирать хлам всякий на пожарищах, или грузить, или выгружать. Попотеет вобщем, как потеют сейчас бывшие господа у станции, которые не платят чрезвычайного налога. А то и просто шлепнут.

Он и сам вспотел. Вытирал лоб красным платком, для чего снимал всякий раз фуражку.

На толкучке многие знали Семена Карповича. Костя с удивлением наблюдал, как меняются лица торговцев и покупателей. Одни поспешно скидывали кепки да картузы, другие отворачивались, словно бы увидев что-то позади себя интересное, третьи здоровались почтительно. Но ни один не назвал Семена Карповича по имени и отчеству, не протянул ему руку. Как будто опасались открыть какую-то тайну.

Иных по мнению Кости тоже можно было бы задерживать и отправлять на проверку к продкомовцам. Видел, как торговцы при их появлении что-то прячут в полы пиджаков, в сумки. Вынырнул из людской толчеи мужчина, вчерашний пассажир в вагоне — остроносый, с патлами пегих свалявшихся волос под холщовым картузом. Вскинул голову на Костю, узнал, а увидел рядом с ним Семена Карповича, дернулся обратно, как наткнулся лбом на столб. Лицо перекосилось, глазки забегали испуганно, затравленно. Проворно, как и вчера под вагон, тиснулся между боками двух женщин, потряхивающих барахлом, покрикивающих наперебой.

— Вот того дядьку можно было бы проверить, — сказал Костя Семену Карповичу. — Вчера видел его в поезде — что-то неположенное вез в ведре в город, и сегодня

тоже за шинелью, наверное, прячет какое-нибудь добро. Вон он как торопится, неспроста значит.

— Ладно, — махнул рукой Семен Карпович, — всех все равно не перетаскаешь. Мы на сегодня с тобой, Константин, потрудились уже — одного злостного и неисправимого спекулянта накрыли, сдали властям. Поработали, как скажет Яров, на революцию. Теперь можно и передохнуть. Вот завтра, а может и послезавтра, — важно стал говорить он, когда они выбрались из толпы и двинулись узкой улицей, — в газете можно будет почитать о нашей сегодняшней работе. Мол, чинами розыска на Толкучем рынке задержан известный в городе спекулянт Кирилл Локотков. А чины розыска это и есть мы с тобой... По фамилиям нас нельзя звать, дело секретное. У нас, особенно старых агентов, даже клички имеются. Это чтобы в разговоре, или депешах там, или телеграммах скрытно все было. Меня вот «бурав» звали, а Николая Николаевича «Фудзияма». Это за обличье его так назвал когда-то сам Бибиков. Лицо у него не русское, заметил — скуластое, глаза, что ниточки черные и кожа с желтизной. Вот только волосья на голове уже больно рыжи, что огонь. Видно в его роды когда-то китаеза или япошка затесался, вот и гуляет кровь из поколенья в поколенье, никак не выветрится до сих пор. И из себя-то он что, японец — коренастый да кривоногий, бегает зайцем. Мальчишек-воришек бывает догоняет, вот какие у него ноги...

Тут он остановился возле ларька с выдавленными дверями и окнами, вытер платком аккуратно и молча лицо, шею. Затем посмотрел на карманные часы, с почерневшей металлической крышкой, похожие на сплюснутое яйцо, и сказал:

— Ну, пора нам, Константин и посидеть, передохнуть. Да заодно попить не мешает, да перекусить, если найдет что мой старый знакомый Иван Евграфович.

8

Они пришли в чайную — бывший трактир «Орел» — одноэтажное здание из покрашенного известью камня, с ночлежкой в подвале, с широким, выложенным булыжником, двором для лошадей постояльцев. Длинное помеще-

ние было заставлено столами. За ними сидели люди, усердно хлебая что-то из мисок, чашек алюминиевых, солдатских котелков.

Было многолюдно и шумно. Хоть и торговали одним кипятком с цикорием, но на столах у посетителей были видны куски белого хлеба, вареного мяса, рыба, даже пироги, привезенные, как видно, из деревень. Слышались пьяные голоса, играла гармонь и гармонист, лохматый мужичонко, пронзительно и непонятно выкрикивал слова песни. Слонялись возле столиков нищие, больше мальчишки, ободранные, чумазые, с грязными голыми ногами, с такими же грязными руками. Хныча, протягивали их, то ли деревенской женщине, отхлебывающей с блюдечка кипяток, то ли косматому старику, уныло жующему кусок мяса, то ли парням с лицами громил, сгрудившимся за отдельным столиком, гомонящими громко над стаканами. Нищих гоняли, они огрызались, показывали кулаки. Синей пеленой висел в чайной табачный дым, чад от горящих под кубом с водой дров. Звенела посуда, топали, как в пляске, шаги, хлопали без конца с визгом двери. Крики и голоса, лай гармони — мешались в ушах, оглушали.

Они сели за столик, засыпанный подсолнечной шелухой, табачным пеплом, яичной скорлупой, залитый кипятком, изрезанный ножами.

И тотчас же из кухоньки, едва не бегом, не сводя с агентов глаз, появился маленький пожилой мужчина в засаленном фраке и солдатских брюках, сапогах, с совком в руке. На несвежей белой рубахе лиловели влажные пятна. Точно кто-то там в кухоньке только что плеснул в него кипятком. Обварил и лицо — крохотное, и умильное, багровое и тоже влажное.

— Уж так я рад видеть вас, Семен Карпович — заговорил тонким молодым голоском мужчина, одновременно быстро и вместе с тем осторожно смахивая со стола сор в совок. И клонил голову то к Семену Карповичу, то к Косте. В глазах, придавленных и бесцветных, таилась тревога. Кончив убирать, он бросил тряпку на совок и разогнулся, даже вытянулся по-солдатски:

— Ну-с, какой заказик будет? Рад постараться для вас, почтенный Семен Карпович.

Семен Карпович снял фуражку, бросил ее на пыльный подоконник. Проворчал недовольно:

— Никак ты, Иван Евграфович, не отвыкнешь, от ресторанных своих привычек. Какой тут заказик, если торгуешь одними щами да цикорием. А слышал я, будто ты голым кипятком приторговывал.

Иван Евграфович хохотнул, но посуровел тут и бровки сдвинул в одно место, к носу.

— А как вы считаете, Семен Карпович, — много ли мне платят за должность. Дрова под топку сам ищи, пили и коли их тоже сам, и со столов убираем да и насчет заварки тоже хлопочи. Да еще воду в бачок не успеваю лить. Вон, — кивнул он головой на окно, за которым толпился народ в очереди к цинковому бачку с кружкой на медной проволоке:

— Целое налили море, черти. А власти меня ругают. Пишут в протоколе, что я заразу развожу возле трактира. Требуют, чтобы питье было и тут же ругают. А по мне бы, Семен Карпович, так отменил бы я такое благодеяние, как до сих испанка валит людишек.

— Вашему ученику тоже можно? — глядя умильно на Костю, уже другим тоном спросил он. — Так, скажем, для приличия, для делового разговора...

— Наметан у тебя глаз, Иван Евграфович. Не проведешь, как через стекло глядишь.

— Так как же, — поспешно забормотал Иван Евграфович. — Вы люди деловые. Если сидит с вами, так или же ученичек или же который под суд пойдет вскорости. Знаем, повидал я вашего брата на своем веку немало.

— Ладно, ладно, — прервал его мрачно Семен Карпович, — принеси моему парню тарелку щей. Карточки у него пока нет, ну да этой бурды у тебя хватит. Да может еще есть кой-что для гостей...

— Усию минутку...

Когда Иван Евграфович убежал все той же старческой рысцой — кивнул ему вслед:

— Бывший официант из ресторана «Царьград» — вон этого, — показал он на высокое красивое здание со стрельчатыми окнами, из серого гранита ступенями, медными ручками на тяжелых дубовых дверях. — Закрыли ресторан после революции, сейчас только гостиница. Да и понятно — чем кормить-то. Не жмых же на серебряных подносах разносить гостям. А этот Иван Евграфович там крутился, можно сказать, сколько я в сыскном. Теперь вот заведующим. Я его пристроил сюда.

Хмыкнул тут, дробно и тоненько рассмеялся. И опять потер шею и лицо красным платком, но ничего не прибавил, засмотрелся на проезжающий с грохотом по улице ломовой обоз с ржавым железом.

— Вот ты хотел того мужика еще прихватить, — снова заговорил Семен Карпович. — Может быть и стоило, а может быть и нет. Ведь всех преступников не переловишь, Константин. Они были, есть и они будут...

— Преступники тоже нужны на земле, — прибавил он, как бы внушил это самому себе, а не Косте. — Потешно тебе слышать, а посмотри-ка сколько людей кормится за счет преступника. Ну-ка вот, послушай перечту.

Он стал загибать пальцы, с усилием поводя при этом плечами:

— Милиция, а раньше полиция, городовые, ну теперь милиционеры, агенты, как мы с тобой, судьи, адвокаты, тюрьмы, больницы. Давай разом все жулье переловим — что станет со всей этой армией. А-а--?.. То-то же. Тыщи останутся без куска хлеба, будут вон вроде этих мальчишек, — кивнул он головой, — клянчить подаяние. Подайте, дескать, юродивому, бездомному. Скажем, следователь Казюнин. Жил он рядом с Окружным судом, ну сейчас это просто губсуд. Пальцы в перстнях бывало, часы золотые, костюм что на губернаторе, собственное ландо имел с кучером. Ну отняли у него работу — что ж он выгребную яму чистить пойдет? Шалишь. Хоть и отобрали все добро, а он служил кем-то в рабоче-крестьянской инспекции. Щеголь был — добавил с явным восхищением — идет бывало в Окружном суде — голову кверху, усики кольцом, дорогая папироса в зубах, в биллиард ловко бил в гостинице «Англия». Пропал он куда-то. Жена даже заявление принесла в уголовную милицию.

Появился снова Иван Евграфович. Принес на подносе стаканы, на тарелке чайничек, тарелку щей, воблины. Едва он поставил все на стол, как пощелкав ногтем по золотистой чашуе воблины, Семен Карпович живо спросил:

— Рыбку сам выгружал с красноармейцами из баржи, Иван Евграфович? Вроде бы стоял запрет набирать на такую работу штатских лиц...

Иван Евграфович удивленно развел руками, воскликнул:

— Помилуй бог, Семен Карпович. При моем возрасте,

да при моей силенке и в грузчики. Посетители это нам предложили, а мы взяли, в виде исключения для дорогих гостей вроде вас, Семен Карпович, да вашего нового ученичка, простите, не знаю имени и отчества...

— Константин Пантелеевич будешь звать, — ответил Семен Карпович и, покосившись на посетителей чайной, спросил:

— Насчет Артемьева ничего не слышал?

Иван Евграфович нагнулся, заговорил приглушенно:

— Два дня тому назад молодой мужик сидел, с махорочной фабрики видно, потому как чихнул я около него даже — вот какой пропыленный. Кричал он соседу: будто знал Артемьева, когда тот в грузчиках был. Мол худой да невидный, а таскал хлопок с барж. Как челнок бегал туда и сюда...

— И больше ничего?

— И больше ничего, — уныло ответил Иван Евграфович. — Да еще сидели на той неделе Федя Чесаный с Нинкой-Зазнобой?

— С Нинкой-Зазнобой, — оживился Семен Карпович. — Она у нас сейчас в гостях. Так-так — не думаю, что Федя уговаривал ее насчет ночлега. Федя мужик деловой... Ну ладно, и на том спасибо.

Иван Евграфович молчаливо и как-то покорно на этот раз склонил лысую голову и отошел. Боком шел до стойки, где стояла толстая пожилая женщина в белой куртке, наливая щи в посуду черной поварешкой.

— Что-то он пугливый сегодня...

Семен Карпович взялся за ручку чайника. — Значит, побаивается. Два дня назад тут мужика «на малинку» взяли. Приехал из деревни, сел за стол, а продал перед этим на Мытном дворе луку, деньги в кармане. Даже французской булавкой застегнул карман, для верности, значит. Какие-то парни подсели, пили вино и ему поднесли стакан. Не отказался — как же, деревенская жадность. Даровое. Хоть и на свои мог налопаться. Заснул — а проснулся, как рассказывал потом, и в голове звон, перед глазами туман, блевал час здесь во дворе. А денег, конечно, нет в кармане. Наводит Иван Евграфович наверное, посмотрит, услышит разговор и ворам на ушко, а докажи...

И покашляв, стал разливать в стаканы, не кипяток, а красное вино.

— За начало твоей службы полагается, Константин. Так что давай-ка, глядишь и аппетит появится. Хотя аппетит в наше время вроде бы и лишнее, как еды-то щи да вобла.

Он, кряхтя, выпил вино, проследил за Костей. Подвинул к краю стола тарелку с едой:

— Ешь, Константин, не стесняйся. Хоть капуста да кипяток, а кровь разогреют...

В голосе его было столько доброты, глаза излучали столько тепла, что Косте он на миг показался отцом. Вот так же, помнится, сидел отец в деревенской избе за столом, подвигал сыновьям еду, а сам лишь курил и думал, думал о чем-то. Перед самой войной это было...

И взволнованно Костя сказал:

— Спасибо вам, Семен Карпович. Добрый вы ко мне. А почему и сам не знаю.

— Ну-ну, — с притворной сердитостью буркнул Семен Карпович, а голову опустил, как пряча от Кости глаза. — Сына ты мне потому что напоминаешь. Тоже Костей зовут. Только в тебе деревенского обличья много и лицо круглое и носик с загогулинкой, а у моего Кости лицо тонкое, волосы на голове белые. В мать он — полячка она у нас была, Бронислава Тадеуш. А еще радуюсь я за тебя, потому что верю. Верю, Константин, что моей дорогой твердо пойдешь. Дорога эта нелегкая, не то что, скажем, волосья в парикмахерской стричь или поварешкой мешать в котле на кухне. Будут окружать тебя люди черные, без сердец — карманники, убийцы, грязные бабенки, шулера. Пойдешь ты по притонам, по квартирам, будут тебя ругать, оскорбят не раз, а то и в лицо плюнут, а то и замахнутся чем ни попадя — ножом ли, кастетом ли. А ты все это перетерпишь, верю я крепко и потому вот перед тобой такой открытый, доверяюсь как на духу, рассказываю все такому мальчишке. Когда я пришел в ученики к Бибикову, так он мне не доверял больно-то, на побегушках был у него, на расстоянии за ним ходил, что собачонка. А тебе я доверяю как равному.

Он замолчал, а Костя, чтобы сделать приятное своему учителю, спросил:

— А много же вы, наверное, Семен Карпович, словили ворья? Столько лет на службе, уж всего насмотрелись, подитко.

Семен Карпович взял воблину, разломил ее, погрыз

хвостик. Казалось Косте, обдумывает: отвечать или нет на вопрос.

— Хороша рыба, — покачал головой, — спасает она наши животы, ничего не скажешь. А насчет ворья, так скажу тебе, Константин, прошло их через мои руки и не счесть. Заломил руки и повел в тюрьму. Тюремный путь, — проговорил уже задумчиво, — это путь тернистый.

Костя даже грызть воблину перестал, как представил себе эту тюрьму — огромное здание из камня, из решеток, с арестантами в серых халатах. Вот и он будет приводить туда арестантов. По какой дороге они пойдут? И что их там ждет?

— А жалеть их, арестантов да преступников не надо, — посоветовал веско Семен Карпович, отирая сальные пальцы о ножки стула. — Потому как нас с тобой при случае они не пожалеют, рады будут насилие причинить. Меня вот здесь вскоре после десятого года чуть не укокошили...

Он показал пальцем на двор, выложенный булыжником, со столбами для привязи лошадей.

— На масленицу случилось это, — продолжал Семен Карпович, мрачно сдвинув брови. — Поручили мне розыск пропавшей лошади с упряжью и санями — угнали босяки. Только я вошел во двор, как на голову накинули петлю и мокрую тряпку. После этого поленом трахнули по затылку. Бьют ногами куда ни попадя и приговаривают:

— Вот тебе прописка, вот тебе прописка...

Ну, потом привели меня в чувство хозяева трактира, отошел. Через полгодика уголовники сами мне шепнули на ухо: мол, Муравей это с дружками. Был тут такой громила. И верно, что насекомое — маленький да шустрый. Ну, взял я этого Муравья. Спросил в отделении: «А что ж это ты насчет прописки, когда бил меня». Пожал плечами: «Сам, говорит, не знаю. Так уж на язык попало». Ах, на язык. Дал я ему тогда ножкой от рояля. Так он и зачах, видно, не до воровства стало. Нас бить опасно, встретимся потому что, если рецидивистом стал, обязательно встретимся, для составления протокола, скажем.

— Позавчера вон Мичуру посадил опять. Это тот церковный вор, что меня однажды фомкой саданул в грудь.

Гляжу идет по улице, домов держится, осторожный, а за пазухой топырится. Ну, прямо грудь мадам Фиро — была в цирке Ценизелли такая особа. Идет и не видит меня, а я вижу его. Смекнул — опять, значит, где-то церковью побаловался Мичура. Слаб он на церкви, ничего не скажешь. Все туда тянет, как нагрешившего. Забежал за ордерком, понятого прихватил и к ним, к Василию Васильевичу, есть на Знаменской улице такой барыга, скупщик краденого, горбатый старик. Гляжу, сидит Мичура, а рядом прикрытый женским саком церковный «воздух». Ну и ругался Мичура. Дал бы, говорит, хоть погулять вечерок, а уж на утро и брал бы...

— Да ты, — тут оборвал он свои воспоминания, — что же не ешь рыбу, заслушался. Питаться надо, потому как у нас должность ответственная и важная, силы требует, ловкости. Руки приходится часто ворам закручивать за спину. Только вот и руки крутить скоро запретит чего доброго Яров. Вывесит приказ как на Терентия Листова: мол, это ухватки царизма и ни что иное. Придется громилу вести под ручку, как я сегодня вел Кирилла Локоткова.

Семен Карпович нахмурился, даже поугрюмел, продолжал огорченно:

— А Терентия зря он уволил да еще без жалованья вперед. Парень был крепкий. В приказчиках служил у купцов Жолудевых в Соленом ряду. Как получилось тут. Один бандит резнул в уезде целую семью. Ну, на допросе Листов и смазал своей лопатой-кочергой его по морде. Сразу сознался. Ну, а Яров узнал и в шею Терентия: дескать, словами надо вынудить признание, а не насилием... Только зря он так, — уже задумчиво сказал. — Вон Кирилку съездить бы тоже по синему носу, живо бы сообщил откуда сахарок. А тут лозунгом в ответ. Или Нинка-Зазноба. Раньше я ее щипнул бы за мягкое место и визгнула бы, да все что за зубами выпустила бы, как эта самая ворона в басне Крылова. Теперь что — освобождай девку, раз нет доказательства да свидетелей, да немедленно.

— Эк, черти б его разорвали, — вскричал неожиданно и трахнул костяшками пальцев по столу. Рысцой подбежал Иван Евграфович, пригнул голову все с тем же умильным выражением на лице, а в глазах плавало все то же беспокойство.

— Еще чайничек прикажете, Семен Карпович? Или вобла не очень вкусна показалась?

— Чайничка больше не требуется, на обыск потому что идем, — сердито проговорил Семен Карпович, — а вот этот гармонист пусть замолкнет, надоел, ревет потому что как резаный поросенок. Скажи ему, что закон такой вышел, чтобы не шуметь в общественных местах. По всей России война идет да голодовка, а они устроились тут как в раю.

— Усию минутку.

Иван Евграфович проворно вильнул между столиками, вытянул гармонь из рук мужичонки и едва не бросил ее на пол. Ошарашенный гармонист потянулся было за костылем, но буфетчик кивнул головой, показывая, как видно, на Семена Карповича. Гармонист тоже оглянулся и отложил костыль в сторону, стал застегивать пуговицы драного френча.

Иван Евграфович снова появился возле стола, склонился и сказал заискивающе:

— Уж вроде бы ничего не боится нынче народ, чертом не припугнешь, вот вас, Семен Карпович, боятся как огня. Слава потому что длинная о вас по всей губернии. В прошлом году в Страстную неделю средь ночи в шалман заявились. Рассказывали вот за этим же столом «фартовые» недавно. Вошел Шаманов, взял стакан, выплеснул остатки. Налил из бутылки, чего уж и не знаю. А потом и говорит: — кто из вас «прикалечил хазу» у старика Варенцова на Никитской? Чтобы завтра те вещи были у реки, у барж нефтяных. Выпил, закусил, что было за столом, и пошел. В два счета могли вас там эти «фартовые» «пришить», а вот побоялись. И вещички, говорят, снесли. Подальше от греха, дескать...

— Ладно тебе нахваливать, лучше скажи, сколько с нас приходится. Пора нам собираться из твоего вертепа.

— Помилуй бог, — воскликнул с непритворным возмущением Иван Евграфович, — за эту несчастную воблу, да кислую капусту, да низкое вино я стану с вас брать деньги. Уж помнится гуляли вы в ресторане — тогда другое дело — было попито и поедено. Как закатитесь бывало с сыщиками — все ходуном в зале. Не жалели денег. Давно это было, чай, еще до японской войны...

— На чаевых ты поди-ка состояние нажил, — сказал Семен Карпович, деловито пряча в карман оставшуюся

воблину и подымаясь из-за стола. Пошлепал Ивана Евграфовича по тощей спине, добавил уже сочувственно и с искренней жалостью на лице:

— Только это твое состояние на помойку годится. А жаль, не революция, имел бы ты свой ресторанчик, пусть и похуже малость, чем «Царьград», к примеру. Отвел бы ты нам отдельный кабинетик со всей так сказать меблировкой, на серебряных подносах.

— Боже мой, боже мой, — простонал Иван Евграфович и глаза его, застывшие, сразу заблистали — готов был прослезиться в следующую минуту. И руки припечатал к груди, будто собрался молиться: — Уж предоставил бы я вам все, чем боги питаются...

— Боги, — повторил невесело Семен Карпович, — эти боги нынче — сам народ, как пишется в губернской газете. Или тебе, наверное, некогда грамотой заниматься. Ну, ладно, идем своей дорогой, Константин.

9

В номере гостиницы явственно слышался разговор. После стука все мгновенно смолкло, как будто костяшки пальцев Семена Карповича, как в сказке, заставили людей провалиться в какую-то яму. Только из глубины коридора доносилось шарканье ног да стук швабр горничных.

Семен Карпович снова и с непонятной Косте робостью постучал в дверь.

— В кровати что ли лежат? — пробурчал он себе под нос. Но на этот раз дверь скрипнула, и на пороге появилась с растерянным выражением на лице молодая красивая женщина лет тридцати пяти в длинном белом платье, перетянутом в талии белым лакированным пояском. На тонкой напудренной шее висел синий газовый платок. Черные волосы были собраны в крутой валик на затылке и зашпилены брошками. Увидев их, женщина сощурила и без того раскосые зеленые глаза, под которыми нависли пепельного цвета отечные мешки.

— Ах, это вы, господин сыщик! — воскликнула она удивленно. — А уж я бог знает что и подумала. Уж не разбойники ли?

— У вас, Инна Ильинична, есть чем поживиться разбойникам? — осведомился Семен Карпович. — Поступило в угрозыск письмо, анонимное, конечно . Будто вы, Инна Ильинична, незаконно торгуете кокаином и наживаете на этом бешеные деньги. Вот посему и надо полагать нас на лицо, как пишется в приказах.

— . Какое свинство! — сцепив пальцы, прошептала женщина. — Дайте мне того человека, господин Шаманов, и я плюну ему в лицо. Это наверняка какая-нибудь из этих проныр-горничных, что всегда подсматривают и подслушивают.

Семен Карпович вздохнул шумно.

— Если бы мы знали, — проговорил он, почтительно при этом глядя на Инну Ильиничну. — Так позволите пройти для осмотра? Хоть и анонимное письмо, а ордерок имеем на руках.

— Пожалуйста, — нехотя предложила Инна Ильинична и отступила чуть в сторону, освобождая им дорогу, — если уж вам так хочется. Верите всяким сплетникам и болтунам. Искали бы настоящих преступников.

— Хочется-не хочется, работать надо...

В большой светлой комнате с полукруглыми высокими окнами, прикрытыми побуревшими и продырявленными гардинами — сидели двое: толстая, вся в черном, седая женщина, похожая на турчанку, и мужчина с покрасневшими веками, впалыми щеками, черными от щетины, с глубокими зализами на голове, с оттопыренными, как у мальчишки, ушами. Одет мужчина был в серый пиджак, черную рубашку, подпоясанную ремнем. На ногах стоптанные яловые сапоги.

На столе поблескивала яркой наклейкой бутылка вина, на газетном листе лежала горсть конфет в бумажной обертке. И женщина, и мужчина молча, во все глаза смотрели на вошедших. Мужчина вдруг чертыхнулся и бросил окурок папиросы в пепельницу — видно, прижгло пальцы.

— А у вас, Инна Ильинична, я гляжу важные гости, раз встретили их вином да конфетами, — проговорил уже весело Семен Карпович, неторопливо обходя сидящих за столом. Те завороженно поворачивались вслед за ним, как опасаясь получить удар по затылку.

— Ну что вы, — спокойно ответила Инна Ильинична, — это просто мои старые друзья: подруга, госпожа

Добрецкая, и дальний родственник Игорь Юрьевич. Не виделись столько лет и как же не отметить такое событие.

— Эта госпожа Добрецкая, — торжественно произнес Семен Карпович, — и сыскному старая подруга. В начале войны она устроила у себя на квартире в Никольском проломе притон с беженками-проститутками, а в революцию куда-то пропала. А беженки куда-то исчезли, в Турцию что ли она их вывезла да продала?

Госпожа Добрецкая на глазах стала бледнеть, обессиленно откинулась на спинку кресла:

— Подумать только, — проговорила полушепотом, — сейчас и я вас признала, господин...

— Просто товарищ Шаманов, — прервал ее нетерпеливо Семен Карпович. — А вас я хорошо знаю, господин, или как вас теперь величать, дальний родственник, Игорь Юрьевич.

Мужчина встал, щелкнул каблуками. — Командир санитарного отряда запасного полка Сеземов. Простите, что не в форме, в увольнительной нахожусь. В штатском, знаете ли, посвободнее чувствуешь себя.

Семен Карпович улыбнулся ядовито, оглядывая мужчину с ног до головы:

— С такими командирами Ульянов-Ленин, как Александр Македонский, дойдет до Египта, пожалуй... Какой стук выделываете каблуками. Прямо гвардейский офицер на гатчинском плацу... Интересно только, где вы санитарному делу научились? Не в публичных домах?

Сеземов побагровел, откашлялся, подыскивая видно ответ, но Семен Карпович резко отвернулся.

— Ну, впрочем, нам пора и за дело приниматься.

Он вышел и вернулся почти тотчас же с двумя женщинами, горничными гостиницы.

— Вы-то должны бы знать, — обратился он к ним, — торгуют или нет в этом номере? По разговорам, по посетителям.

Ответила одна из них, маленькая косоглазая, в платке, длиннополом мужском пиджаке. Руки она сунула в рукава, как будто ее знобило в этот жаркий июльский день. Ответила грубо, с неприязнью к находившимся в номере и даже глаза сощурила злобно:

— Наше дело маленькое — прибрали и ушли. За это и карточку дают нам.

Вторая, покрупнее ростом, добавила тихо и тоже нелюбезно:

— Следить, что делается в номерах, так волосы встанут дыбом.

— Та-ак... — протянул Семен Карпович, — тогда вот ордер на обыск. Пахомов, приступай. Осмотри все под кроватью, под диваном.

Костя вдруг растерялся. Еще вчера он жил в деревне, косил с матерью траву, а сейчас надо искать под этой пышно взбитой кроватью кокаин, видя на себе недружелюбные взгляды каких-то странных людей.

— Ну так что же ты? — спросил Семен Карпович, сам тем временем деловито переставлял на столике трюмо, баночки, открывая их и закрывая. При этом шумно посапывал носом, а то чихал.

— Непривычное еще, наверное дело-то, — почувствовала первая понятая.

— Ничего, приучится, — прибавила другая, — дело не хитрое, видно.

Инна Ильинична так громко засмеялась, что Сеземов неожиданно вздрогнул, госпожа Добрецкая откинулась опять на спинку кресла и почему-то пожала плечами. Тогда Костя решительно прошел к кровати, присев на корточки, вытянул чемодан за тонкую кожаную ручку. Тотчас же застукали каблуки Инны Ильиничны, колыхнулось платье перед глазами.

— И охота вам, молодой человек, этим заниматься? Там же мое нестиранное белье. Уж пусть хоть ваш начальник ищет, ему-то это не впервые.

Костя сделал вид, что не расслышал. Раз приказал Семен Карпович, он, Пахомов, будет выполнять приказ.

Под руками зашелестели, пахнущие духами чулки, лифчики, блузки. Словно жгло руки и, добравшись до дна чемодана, Костя даже вздохнул облегченно.

— Нет здесятко ничего, — известил Семена Карповича. — Одно белье.

— Потом скажешь, что ничего нет здесятко — передразнил недовольно Семен Карпович, — ищи в других местах, да повнимательнее только...

Но и под диваном увидел Костя лишь пыль, а в пыли обрывки материи, нитки, пуговицы. Поднялся, стряхивая с коленей приставший сор. Инна Ильинична засмеялась издевательски:

— Хороша работка пыль собирать под дамскими кроватями. Бежали бы вы, молодой человек, прочь от такой канители. Уж лучше бы воевали с Деникиным.

— Кому-то надо и этим заниматься, — равнодушно проговорил Семен Карпович и с каким-то раздражением отставил баночку.

— А теперь, граждане свободной России, нам придется вас обыскать на предмет не затерялась ли где там пачка кокаина. Ничего не попишешь. И вас, товарищ командир, раз вы оказались здесь...

Мужчина тотчас встал, стуча каблуками, подошел к Семену Карповичу и опять щелкнул по-военному. Смотрел немигающими глазами.

— А ты, Константин, осмотри Инну Ильиничну, — приказал Семен Карпович деловитым тоном и чуть заметно ухмыльнулся.

Инна Ильинична возмутилась:

— Этим, было бы вам известно, занимаются женщины. Это уже варварство.

— Отлично, — похлапывая Сеземова по пиджаку, ответил Семен Карпович. — Тогда отложим до угрозыска. Наша журналистка любит этим делом заниматься.

Все в номере увидели, как испугали Инну Ильиничну эти слова. Она попросила поспешно:

— Ну, хорошо... Только хоть не на виду у всех. Разрешите в другой комнате.

— В другой, так в другой, — согласился Семен Карпович, вслед Косте наказал под тихий смешок женщин-понятых:

— Только ты там не очень-то увлекайся...

Покраснев, и в глубине души ругая Семена Карповича за это поручение, Костя вошел во вторую комнату, полукруглую, совершенно пустую, без мебели. Инна Ильинична стояла посреди комнаты и улыбалась ласково:

— Надеюсь, что вы, молодой человек, не станете обшаривать меня, как арестанта. Вам самому, я вижу, стыдно.

Так как Костя переминался с ноги на ногу, не зная что предпринять, она поняла это по-своему:

— Не станете же вы здесь искать, — сказала с каким-то любопытством, разглядывая его, вскинула концы платья, открыв голубые панталоны, подвязки, круглые колени, туго стянутые чулками.

— Ладно уж, — с каким-то даже отчаянием в голосе воскликнул Костя и бросился из комнаты. И как бы воедино увидел всех. Понятые все так же улыбались, Семен Карпович смотрел с интересом, на лицах госпожи Добрецкой и Сеземова напряженное внимание и даже тревога. Словно бы ждали увидеть в руках Кости что-то.

— Ничего нет, — проговорил и улышал тихий смех понятых. Инна Ильинична, в дверях поправляя волосы, проговорила:

— Очень вежливый помощник, Семен Карпович. Вот бы у кого вашим сыщикам надо поучиться...

Семен Карпович сделал вид, что не расслышал. Он захлопнул объемистый бумажник, вернул его Сеземову, и сказал:

— Мог бы я себя, санитар, помня пятнадцатый год, отвести к Агафонову для знакомства, да обет дал не вмешиваться в политику. Так что твое счастье...

— А вы меня не пугайте, товарищ Шаманов, — уже тоном начальника произнес Сеземов. — Я на службе у Советской Республики. Мне доверяют. Наш командир полка и в штабе знают прекрасно, что я бывший офицер.

Семен Карпович быстро глянул на него, и так же быстро повернулся к женщинам:

— И ваше счастье, господа. Но смотрите, — погрозил он пальцем, — чувствую неспроста вы распиваете эту бутылку мадеры.

— Я в Тамбов уеду завтра, — вызывающе глядя на Семена Карповича, проговорила Инна Ильинична. — Мне нечего больше делать в этом Карфагене.

— Я тоже не задержусь, — сообщила и госпожа Добрецкая, — меня ждут в Петербурге мои внучки.

— Значит, на новый манер своих девиц называешь? — съязвил Семен Карпович. — Внучки, они теперь в революцию? Ну, да ладно...

Он написал протокол обыска и отпустил понятых. На прощание сказал оставшимся в номере:

— Посмотрю я только, где вы сядете. Не попадите, смотрите, на Гласневскую, или еще хуже к Агафонову...

— А это пусть вас не беспокоит, Семен Карпович, — отрезала зло Инна Ильинична и вдруг покраснела вся от лба до шеи.

— Да ну как сказать, — ответил задумчиво Семен

Карпович, посмотрел на Инну Ильиничну и какая-то теплота блеснула в глазах.

Та усмехнулась, спросила холодно:

— У вас больше ничего нет к нам, Семен Карпович?

Семен Карпович медленно покачал головой и пошел к выходу. Она догнала их у дверей, проговорила быстро и с упреком в удивительно тихом голосе:

— Ах, Семен Карпович! Приходите с обыском, раздеваться заставляете, нервы мои и без того разбитые добиваете. Неужели нельзя было без этого шутовства? Ведь я же вам, как догадываюсь, всегда нравилась.

— Что поделаешь, —вздохнув, ответил Семен Карпович, — работа. Оклад ведь мне за это положен, Инна Ильинична. Вот удивляюсь я только, — уже с грустью продолжал он, — могучий видно ваш новый покровитель, раз на постоянном проживании в номере из двух комнат, да еще не работая нигде, да без продовольственной, наверное, карточки.

— А это вас уже не касается, господин сыщик, — ответила надменно Инна Ильинична, и захлопнула дверь с треском.

— Это вас не касается, — повторил негромко Семен Карпович, спускаясь по широкой мраморной лестнице. Лишь на улице, пройдя немного, он ткнул пальцем в стену гостиницы из серого гранита, пояснил:

— Она жена драгунского офицера. Куда-то смылся, а ее бросил. С зимы восемнадцатого года знаю я ее...

10

Посмотрела бы мать на него в следующее утро. Посмотрела бы, как топочет он рядом с пыхтящим сопящим, точно паровоз, Семеном Карповичем. По холодному еще асфальту, по булыжнику переулков, по крапиве пустырей. Развела бы руками:

— Хотел в ткачи, а сам несется куда-то сломя голову, будто на пожар...

И Александра Ивановна удивилась бы. Вчера вечером долго расспрашивала — что да как было за день. Потом, за чаем, стала рассказывать про своего Тихона: как он ходил на службу. И что, мол, придется Косте тоже самое ездить в командировки, гоняться за жуликами,

сторожить их в засадах, да квартирах, дежурить по ночам на станции, на пристанях. А что бежать бегом на место происшествия придется — не сказала. Не видела, значит. А это был очередной урок. Коль скорее прибегут они на Воздвиженскую улицу, где ночью была ограблена почтовая контора, тем скорее нападут на следы преступников. Вот и пугали сейчас прохожих — останавливались они, жались к подворотням, смотрели удивленно в спины.

Возле конторы в садике, заросшем буреющей уже акацией, стояли, переговариваясь громко, несколько женщин и высокий старик в почтовой форме. Увидев их, он поспешил навстречу и по лицу было ясно, что вся эта история взволновала и напугала его. Заговорил, едва ответив на их приветствие:

— Пришел утром я, первым, как всегда. Открыл замок, вошел. Все было на месте. Пол примыт с вечера, стулья, столы в порядке. Снял фуражку, потом вынул ключи от кассы. Открыл ее — а там пусто, как веничком все выметено. Немного и денег — обычно крупные суммы сдаем в банк. И опять закрыли кассу. Как они в контору попали, не знаю. Только нахлобучил фуражку, да в двери. Никого больше не пустил в контору. Это чтобы не перепутали следы...

— Знаком с сыскным делом, — похвалил его Семен Карпович. — Поди-ка все выпуски про Картера да Пинкертона скупил. Знаешь, что к чему. Может и преступника по книжкам своим разыщешь?

Старик негромко засмеялся и вроде бы как приободрился. Потрогал гладко бритую щеку, смущенно сказал:

— Кто их, гражданин агент, не покупал. А искать преступников не моя обязанность. У каждого свой хлеб...

— У каждого свой хлеб, — с каким-то удовольствием повторил Семен Карпович, — а сторож чем занимался в эту ночь? Спал?

Поднялась со скамьи, закутанная в старенькое драное одеяло, женщина, чуть не со слезами принялась убеждать агентов, что она уже который год мается бессонницей. И что в сторожа пошла по той причине. «Все равно не спать-то». Рассказала она, что как всегда ходила «не торопясь» вокруг конторы до склада конторского и ничего не слышала, никого не видела.

— Вот и воры тоже, не торопясь, очистили контору за твоей спиной...

Семен Карпович вынул лист бумаги, стал расспрашивать женщин: какие фамилии да имена с отчеством. Да кем работают, да когда стали работать. Да не видели ли посторонних посетителей подозрительных накануне.

— Может быть это Артемьев? — предположил старик, то и дело вставлявший в ход разговора свои пояснения. — Уж больно и ловко...

— Все на Артемьева сейчас валят, — даже с каким-то огорчением ответил Семен Карпович. — Убили за рекой — Артемьев. Очистили ларек с валенками — Артемьев. Раздели бабу на Кавказском кладбище — тоже Артемьев с дружками... Словно мало шпаны в городе кроме. Ну-ка, — махнул он Косте рукой, — давай в контору. Да пусть двое понятых идут с нами.

В конторе было пустынно и тихо. Пахло клеем, чернилами, типографской краской, бумагами. Полы были чисто примыты, поблескивали даже. Сколько ни разглядывал Костя крашеные половицы — не увидел следов. Стало как-то не по себе. Представил вдруг того вора, тихонько крадущегося к той вон высокой с металлическими насечками кассе. Может лицо у него как у Огурца — вытянутое и бурое. Или тот мальчишка, что у собора лез в карман к тщедушной старушонке, открывал осторожно ключом замок кассы, потом набивал карманы деньгами, при этом поглядывая на окна, слушая, как хрустит под ногами сторожихи желтый песок в садике с акациями.

— Садись, Константин, за стол и пиши протокол, — кончив осмотр, приказал Семен Карпович. Он достал из своей маленькой плетеной корзиночки лист бумаги, ручку, положил перед ним. — Начинай так: мол составлен такого-то числа на предмет осмотра почтовой конторы... Пиши, что я буду тебе говорить.

Говорил он долго, нудно. Сколько окон, да какие они, да в каком состоянии двери, потолок. Про печь указал, про лампочки, про телефоны. И что пол вымыт, без внешних следов... Даже пальцы у Кости заныли и когда Семен Карпович велел ему пошарить возле двери «мало ли там какой кусочек или комочек» — не выдержал:

— Да нешто по кусочку или комочку найдем вора, Семен Карпович?

И чуть не подскочил от хлесткого удара костяшек пальцев по столу. Увидев, как исказилось яростью лицо Семена Карповича, мигом сунулся под двери, зашарил

ладонью по половицам. А над головой нескончаемым весенним и ершистым ручейком тек голос Семена Карповича:

— Ползай, Пахомов, и привыкай к терпенью. Ползай, шарь, вынюхивай, выглядывай. Понадобится — день и ночь поползаешь на животе, понадобится в выгребную яму полезешь, покойника смердящего обшаришь с ног до головы...

Он бы еще наговорил, да появились старик Варенцов, проводник собаки, крупного черного пса по кличке «Джек», субинспектор Канарин, дактилоскоп Шурочка, маленькая робкая девушка с круглым милым лицом, в платье обшитом на рукавах. Канарин спросил первым делом:

— Не зря взяли собаку?

— Не зря, — ответил Семен Карпович, — пускай ее к кассе. Один только кассир подходил пока, насколько точно это. А Шура пусть снимет отпечатки.

Пес, приглушенно взвизгивая, обнюхал кассу, потянул на улицу. Потолкался около старика и после понукания Варенцова, припустил вдоль палисадника. Побежали вслед за ними Семен Карпович, Канарин и Костя. И опять останавливались прохожие, опять жались к заборам, подворотням. В проходном дворе возле станции Семен Карпович попросил у женщины напиться из ведра. Пил долго и жадно, с хриплым бульканьем. Вытерев губы рукавом, пожаловался:

— Сейчас бы на рыбалке мне сидеть или «коровки» собирать в лесу. А я ношусь по городу точно чумной. Эх-ха-ха... За псом вон даже успеваю, даром что у него четыре ноги.

«Джек» привел их в Самарский переулок, остановился возле крошечной мазанки, с облупившимися стенами, с погнутым забором, грядами, затопленными зеленой водой. Казалась мазанка не жилой, заброшенной. Но вор был здесь, спал оказывается после ночной работы. Вышел он впереди Канарина и Семена Карповича — мятый раздраженный, мужик около пятидесяти лет, курносый и рябой. На крыльце оглянулся на Семена Карповича, проговорил спокойно:

— А болтали будто тебя, Семен Карпович, уволили из сыскного, как царского служаку. Даже чуть ли не расстреляли будто. И такое слыхал в народе.

— Раз я здесь, значит в сыскном, — миролюбиво ответил ему Семен Карпович. — А вот тебя жалко, Чесаный Федя. Из-за ломаного гроша опять в лагерь пойдешь. Один был или может кто-то помогал?

— Один я был, — быстро проговорил Чесаный, устраиваясь по нужде возле забора. — Привык в одиночку.

— Может все же вспомнишь, скажем, дама какая-то любезничала с тобой...

Федька покосился угрюмо, на этот раз промолчал. А Семен Карпович усмехнулся, похлопал его по плечу:

— Поищем и даму тебе в компанию. Постараемся. Выпустили ее зря оказывается вчера. Ну да ведь найдем.

Нинку-Зазнобу они нашли на вокзале. Лежала на полу, рядом с двумя красноармейцами, в замятом черном платье, животом вниз, пряча лицо от постороннего взгляда. Семен Карпович поторкал ее в бок сапогом:

— Эй, пассажир, поезд уходит.

Подняла голову Нинка-Зазноба, села рывком на пол, злобно оглядывая их. Спросила хрипло:

— Чего надо?

— По подозрению...

— Опять по подозрению, — закричала девица так громко, что один из красноармейцев проснулся, тоже сел, настороженно оглядывая агентов, перебирая ремень винтовки.

— Дадим тебе поговорить с одним дядей рябым. Может знаете друг друга, — скучающе продолжал Семен Карпович, щуря глаза, ворочая шею, как будто болела она у него. А не знакома с ним если — выпустим опять. Гуляй на здоровье досыпай ночку на вокзале.

— Из трамвая вытаскивают, из вокзала вытаскивают, — продолжала кричать Нинка-Зазноба, — что вы мне жить не даете, «собаки».

Семен Карпович нахмурился:

— Ну-ка, Костя, — приказал он, — подыми ее побыстрее, а то народ весь на вокзале перебудим.

Костя подхватил девушку, подкинул худое невесомое тело, толкнул в спину. Нинка-Зазноба споткнулась, едва не упала на спящих. Красноармеец прикрикнул:

— Эй, чего надо от девки?

— Уголовный розыск, — пояснил Семен Карпович. Красноармеец отложил винтовку, хмуро буркнул:

— Нашли время за девками гоняться, — и опять стал поудобнее устраиваться на полу.

Они повели арестованную в угрозыск по ночным улицам, слушая, как чертыхается она, и ругает их на чем свет стоит.

...Домой возвращались, когда подымалось солнце над городом. Тарахтели по мостовым подводы, спешили жители, покрикивали отстоявшие ночь возле контор сторожа, гремели тазы в пустынных и глухих старинных дворах. Мерно, как стук каблуков по асфальту, звучали слова Семена Карповича:

— Осмотр помещения, где произошло ограбление, обязателен, Константин, и необходим. Да не просто глянуть надо, а все тщательно осмотреть — все трещинки на окнах, все дверные ручки, каждую половицу, каждый уголок у стола. Мало ли зацепился вор за этот уголок, нитка повиснет. По нитке-то и найдем его. И весь дом надо обойти, и траву обшарить, и окрестности тоже, расспросить соседей на предмет — не видели ли посторонних. Приметы иногда укажут, а по приметам, бывало, я сразу же шел на квартиру к вору и добрецо отыскивал. И тут вот, в конторе этой, догадался я чья работа. Чесаный так работает. Чистюля, аккуратный вор. Все ящики закроет, все стулья на место поставит, замки запрет. Окно тоже прикроет. Все чин-чином, чтобы не сразу его хватились. Догадался я что он, ну, а ведь доказать надо было. Может и не он, гастролер какой. Или Нинка-Зазноба. В февральскую революцию арестовал я ее как-то тоже на вокзале — запомнилась ее спина с узенькими лопаточками, худа уж больно коза, прямо дальше некуда, на чем только и держится. Да и лохмы приметны. Глянул —и карточки не надо...

Дома уже, на крыльце, позевывая, продолжал поучать:

— Запоминай и ты, Константин. Как ходит преступник, как он ест, как моргает глазами, как шмыгает носом, как сморкается, даже как мочится. Потому что коль рецидивист — будешь не раз встречаться с ним. Посадишь его в тюрьму, а он через пару лет опять появится в городе. Опять надо будет ловить его за какую-нибудь проделку. Вот одного я, например, взял по прибаутке. Любил повторять: «как подобает». И вот однажды слышу в трамвае «как подобает» кто-то говорит. Вроде бы

голос и прибаутка Соколова — был такой рецидивист. А обличье другое. Шляпа, усы, борода — что поп. Ну, подошел я и говорю: «Добрый день, Колюка. Уж больно и красиво ты оделся». Тот и глаза вылупил и рот растопырил, что крокодил. Да как хоть вы, Семен Карпович? А так вот... По языку, не звонил бы без пользы...

Щурил глаза, был похож сейчас на доброго мужика из Фандеково, безобидного, слабенького... Только когда надо рождалась в Семене Карповиче кошачья ловкость. Умел он ударить в «больное» место, перебросить через себя, увернуться от ножа или кастета, подставить «ножку»... И день за днем все больше привязывался Костя к старому агенту. Ходить стал как и он — пружинисто, выставляя вперед плечи, готовый при случае, кинуться на сторону или упасть. Разговаривал с арестованными на его манер: «хватит мне егозить дурочку», «ты у меня поговоришь в каталажке», «а ну, выворачивай карманы, шельма». Посмеивался Семен Карпович, одобрительно похлапывал Костю по плечу:

— Молодец, Константин, добрым сыщиком будешь, по всему видно.

Но вот Яров, оказывается, был другого мнения. Однажды столкнулся с ним в коридоре, остановил:

— Погоди-ка, Пахомов, — заговорил хмурясь, покусывая нервно губы. — Дошли до меня частные сведения, что круты вы с арестованными. Ругаете их на чем свет стоит, да по шеям даете...

— Это вы если насчет Нинки-Зазнобы, — стал оправдываться Костя, — так она сама нас по-матерно и идти не хотела.

— Агент советского уголовного розыска должен быть на голову выше задержанного по подозрению. А вы на мат матом. Где же им тогда учиться культуре — раз тут и там руганью.

И не стал больше слушать объяснения Кости, ушел торопливо. А через день забелел на доске, в коридоре, очередной приказ. Подойдя, из-за спин Канарина и Семена Карповича, прочел:

«Предписываю всем служащим вверенного мне управления во время исполнения своих служебных обязанностей относиться корректно с посетителями и арестованными и чтобы в обращении с ними не имелось следов старых полицейских выходок. Предупреждаю, что в слу-

чае обнаружения подобного образа действия, виновный будет арестовываться на месте и предаваться самому суровому наказанию по всем строгостям военно-революционного времени»...

Канарин ничего не сказал, просто отошел. Семен Карпович оглянулся на Костю, заметил его покрасневшее от стыда лицо и с ненавистью сплюнул.

11

Дела у розыска не скажешь, что шли ладно. За прошлый месяц, согласно отчета, было раскрыто пять убийств из двенадцати, тридцать восемь краж из шестидесяти, одно мошенничество из десяти. Из украденных восьмисот тысяч рублей найдено было и возвращено потерпевшим лишь триста восемьдесят пять. Не утешали Ярова, зачитавшего этот отчет сотрудникам розыска, задержанные спекулянты, мешочники, самогонщики, самострелы. Отложив бумагу, он угрюмо оглядел собравшихся. Те клонили головы и молчали. Да и что мог сказать Иван Грахов, долговязый неуклюжий парень с крупным некрасивым лицом, тяжелыми ладонями рук. Еще недавно он подтаскивал патронные ящики на передовую позицию, еще недавно лежал в лазарете. Что мог сказать очкастый Саша Карасев — молоденький парнишка с нежными девичьими щеками и сам застенчивый что девушка. Два месяца тому назад он числился студентом педагогического института. В свободное время он словно бы опять переносится в мир наук — читает стихи, рассказывает забавные истории из жизни знаменитых людей. Откуда опыт у того же Павла Канарина или самого инспектора Петра Михайловича Струнина? Оба они полгода назад еще служили под Петроградом, да плечом к плечу, в одном полку. Только Струнин председателем полкового комитета, а Павел Канарин отделенным. Чего говорить про Шуру Разузину, девицу при родителях только что покинувшую стол в Казенной палате или про врача Иллариона Фадеича Осипенко. Высокий и грузный старик с холеным интеллигентным лицом в наглаженной рубахе, галстуке... А Яров говорил раздраженно:

— Шайки появляются, как грибы после дождя. За рекой грабежи, возле махорочной фабрики останавливают

прохожих, у трамвайного парка отобрали на днях сумку с выручкой у кондуктора...

— Трудно поспеть везде, — виноватым тоном сказал Струнин. — Сами знаете, Иван Дмитриевич, что мы вон с Граховым из уезда вернулись. Трех грабителей-дезертиров пригнали в Чека. Павел Николаевич занят делом о хищениях в Союзе потребительных обществ, Македон Капустин не уходит с толкучки да вокзалов, и Семен Карпович с Николай Николаевичем заняты...

— Занят Семен Карпович, — все так же раздраженно прервал его Яров. — Девицу арестовали, да нашли Чесаного с помощью собаки. А крупная рыба у него кругами ходит по воде.

— А что вы все дела на меня кладете, — обиделся Семен Карпович. — Положено на агента десять преступлений в месяц, я их раскрываю...

Яров звонко шлепнул ладонью по коленке, выскочил из-за стола. Казалось, что сейчас бросится на Семена Карповича с кулаками. И тут вот понял Костя, что не любит начальник угрозыска его учителя. Даже скулы бегали у Ярова, когда он стоял над Семеном Карповичем, разглядывая его колючими глазами.

— Вы, Семен Карпович, старший агент, а во-вторых, полгорода в лицо знаете. И вдруг никаких следов Артемьева. Добро бы искали Фофанова — он, говорят, смылся к Колчаку и даже адресок точный известен — полк «Иисуса Христа». Добро бы Озимов — он по уезду с бандой слоняется. Но Коля в городе, у нас под боком. Может в одном трамвае ездим, в одной столовой питаемся, может в кино он ходит по вечерам или гуляет по набережной, в беседке сидит при закате солнца. Да вот, — обернулся он к сидевшему в углу у этажерки, Македону Капустину — широкоплечему с крупными чертами лица мужчине, бывшему электрику с крейсера «Баян». — Позови-ка, Македон Никитыч потерпевшую. Она в канцелярии.

Вошла женщина, теребя в руках платок, кривя сухое старческое лицо. Заговорила сначала тихо, а потом все громче и со слезливым надрывом, при этом глядя на агентов умоляюще:

— Постучали утром. Не надо было бы мне открывать дверь, а я открыла. Вошел мужчина, лет тридцати что ли. Такой тонкий, лицо острое, сутуловатый, в гимнастер-

ке зеленой и фуражке солдатской, на ногах обмотки и ботинки. Ну, будто солдат. Спросил:

— Оружие есть?

«Какое, говорю, у меня оружие, — женщина тихая да одинокая. Муж на фронте воюет, уже пошел второй год, на Севере. Тогда он вытащил из кармана револьвер и грозит: «Ни звука — или только тебя на этом свете и видели». Затолкал в спальню, связал по рукам и ногам, на кровать положил. А потом в другой комнате надел на лицо маску — такой платок с тремя дырками для глаз и носа. И начал ворошить. Потом еще кто-то появился, а кто не видела, в спальню не заглянул. Очистили комод, сундуки — все серебро унесли, часы, портсигар мужнин, еще подаренный когда он работал в банке кассиром, барахло подороже. Все унесли. Будто на подводе были — на руках-то и не унести. Лежала так бы день, спасибо старику-соседу заглянул в дом...

Она замолчала, а Семен Карпович, усмехаясь, сказал:

— Сначала вошел без маски, а грабить стал — одел маску. Что это такое с грабителями приключилось. Только не Артемьев это. Вряд ли он такого маху бы дал. Да и не ходит он первым на дело. Обычно даму посылал покрасивше. Ну, не даму — подругу свою, любовницу. Оденет ее с иголочки и пустит. Той любая дверь открывалась, а за ней тут как тут и Артемьев с револьвером в руке.

— Гражданка опознала Артемьева на карточке, — перебил его нетерпеливо Яров, возвращаясь за стол. — Показал карточку сразу же и признала. — Он — Артемьев. А что без дамы или маску не сразу одел — так просто наводит на ложный след или же просто почему-то торопился, и хлопот много.

— Это верно, — повторил задумчиво Семен Карпович. — У громил тоже свои заботы и хлопоты. Такие как и у сапожника, скажем, или плотника. Только вот никак я не нападаю на Артемьева. Ну, что тут поделаешь, Иван Дмитриевич. Смотрю повсюду — и в трактирах, и в чайных, и в электротеатре, и в трамвае. Обыск когда делал у матери его, можно сказать, мышью все углы в каморке обнюхал. И братьев, и сестер замучил допросом...

Он вздохнул глубоко, прибавил с грустью:

— А может и потерял я нюх. Как старый пес. Так собак на живодерню волокут для пользы на мыло. А я куда? Может, ножи да ножницы точить по дворам остается.

Камень есть и колесо. Приделаю и пойду.

Это как-то успокоило Ярова. Перестал глядеть по-колючему на агента. Даже засмеялся, так правда, вроде как покашлял:

— Это вы зря, Семен Карпович. Я не приказ по губрозыску пишу об увольнении. На свободе до сих пор Артемьев. Вчера из Центророзыска список прислали объявленных вне закона по всей Советской республике. Там и Артемьев стоит, и Казимир Гордо. Чего они еще придумают. Тут и до убийств недалеко, раз распустили мы их, позволяем...

— Не убивает Артемьев, — устало возразил Семен Карпович. — Ни одного дела не оставил на этот счет, сколько я ни помню на своей памяти. Вроде Чесаного...

— Всего можно ожидать, — жестко проговорил Яров, — не убивает потому, что не вставали на дороге. А встанем — будет стрелять, резать... Вы сами-то встречались лично с Артемьевым, Семен Карпович? — спросил он и пристально посмотрел на него. — Должны были бы встречаться?

Семен Карпович покачал головой — и была какая-то нерешительность в его движениях и в том, что не сразу он ответил. И лишь, вынув платок, привычно отерев морщинистую шею, лоб и щеки, заплывшие потом, сказал:

— В шестнадцатом году с Федоровым брал я его. Тогда он ограбил с дружками ювелирный магазин. Да вы же слышали от меня эту историю, Иван Дмитриевич...

— Да-да-да, — тотчас же как-то звонко ответил Яров, — вспоминаю теперь. Артемьев тогда спрыгнул на ходу из вагона, Федорова убили грабители ночью по дороге домой, а кисет с золотыми перстнями, да кольцами — исчез. Вроде как грабители его прибрали.

Он не выдержал насмешливого взгляда Семена Карповича, опустил голову:

— Из тюрьмы он прошлой зимой загадочно бежал. Заключенные кто за кипятком, кто на оправку, а Артемьев на чердак. Замок сбил, выбрался на крышу и в темноте, в мороз, по сугробам сумел добраться до административного здания. Как ответственный работник спустился по лестнице и вышел на улицу. Шутка сказать, всю тюрьму пройти по крышам. А ведь кто-то подсказал, как идти. Кто-то веревки ему принес, чтобы с одной крыши на другую спускаться. Кто-то сломал решетки на чер-

даке административного здания. Кто-то путь указал. Кто этот человек?

— Сам по себе он не смог бы, — согласился Семен Карпович. — Дело было трудное. Как в цирке. Ну да ведь когда-то выяснится...

Яров быстро глянул на него и улыбнулся как-то растерянно. Постукал пальцами по столу, попросил тихо:

— Продолжайте розыск... Знаю, что бывали не раз на квартире Артемьева. Только еще надо побывать и на квартире, и на фабрике.

Мать расспросите. Да предупредите, чтобы не скрывала — привлечь можем как соучастницу... Вопросы есть у кого? — обратился он к сотрудникам. Вопросы нашлись. Варенцов попросил прибавить кормовых денег для своего «Джека», Иван Грахов потребовал, чтобы костюмерную и гримировочный отделы забрали у него и передали Шуре Разузиной. Поднялся Македон Капустин, тоном приказа попросился отпустить его на Южный фронт с коммунистическим боевым отрядом. Все только засмеялись иронически. Яров махнул на Македона рукой.

— Все тогда запросятся, а кто будет чистить здесь шпану? — У вас ничего нет? — неожиданно обратился он к Семену Карповичу. Тот покачал головой, ответил все также обидчиво:

— Буду собираться за реку, на мануфактуру, как вы приказали...

12

И на фабрике Семена Карповича знали. Когда они пришли в фабком, стоявший возле окна, коренастый мужчина в темной шляпе, сером полувоенном кителе, сунувший руки в карманы солдатских галифе, воскликнул:

— Можно подумать, что и революции не было. Будто и сейчас сидит Бибиков. Как это вас, господин Шаманов, взяли опять в сыскное? За заслуги перед царем-батюшкой?

Костю удивило спокойствие Шаманова, его ворчливый голос:

— Меня с Бибиковым не равняй, товарищ фабкомовец. У Бибикова три дома было, а я как жил в двух комнатушках, так и живу... Одни иконы нажил, да катар кишок...

Фабкомовец теперь повеселел, засмеялся. Вышел им навстречу, поздоровался.

— Кого ищете?

— Мать Артемьева повидать надо. Да может на фабрике есть слухи насчет проживания Артемьева...

— Артемьева...

Фабкомовец посуровел, ожег их обоих взглядом черных глаз.

— Что же это вы, товарищи. Бандиты разгуливают, как говорится, по Питерской-Ямской, а разговоры на наши пролетарские головы. Мол, вон фабричные что творят. Обирают голодающих детишек. Пьют да жрут, как господа старорежимные. А уголовные власти, да Чека сквозь пальцы...

— Сквозь пальцы, — хмуро повторил Семен Карпович. — У нас за прошлый месяц остались нераскрытыми по губернии семь убийств, двадцать краж со взломом, десяток случаев мошенничества. А штат всего десять человек, с врачом считая. Тут хоть разорвись...

— Хоть разорвись, — помягчел сразу же фабкомовец. — Трудно сейчас всем, ничего не скажешь. Насчет проживания Артемьева нет разговоров на фабрике. А Артемьева ватерщицей работает. Тяжело женщине. И семья такая, да тут еще сын. Только и слышишь «Артемьев, Артемьев». Матки детей даже пугают этой фамилией...

— Вне закона он объявлен. По всей можно сказать России. Преступник государственной величины — добавил Семен Карпович. — Ну да вы покажите, где работает Артемьева...

Фабкомовец защелкнул стол на ключ и пошел к выходу, на булыжный двор фабрики. В конце двора, возле старой бани, строем ходили пареньки с макетами винтовок.

— На фронт? — спросил Семен Карпович. Фабкомовец кивнул головой.

— Готовим еще один отряд. Шестнадцатилетние уже идут.

Стал рассказывать им о делах ткачей, словно бы они были какое важное начальство с проверкой. Нефть вся спалена, дров тоже нет. Даже все заборы вокруг ткацкой переломали для топок, даже сараюшки, что стояли по берегу реки, да в пойме за казармами.

— Хорошо еще, что сырье храним. Есть хлопка не-

много да угаров можно наскрести на складах пудов до пятисот.

Он покосился почему-то недобро на Семена Карповича:

— Слышали, что творилось у нас недавно? Наплела меньшевистская зараза всяких слухов да сплетен, ропот поднялся. Остановилась вся фабрика. Одному из наших фабкомовцев на митинге в голову запустили шпулиной. На другого наговорили, что он от белых булок да от икры паюсной нос уже воротит. Хотели даже спустить с пятого этажа. Хорошо трезвые головы доказали, что человек наравне со всеми кладет зубы на полку. Сейчас вот поуспокоились, поутихли.

Он вступил на первую ступеньку лестницы, ведущей на третий этаж ватерного цеха и замолчал. Подымался тяжело, через ступеньку отдуваясь и вытирая лоб донышком помятой шляпы. Пожаловался на последней площадке:

— Прямо Кавказ. Внутрях, как в ткацком, качается. Годы не те. Да еще пять лет ссылки. Кабы не они, так глядишь тоже был бы против Деникина там или Колчака. А тут не взяли. Доживай говорят здесь, на фабрике...

Войдя в цех, Костя остановился, как наткнулся на стену. Так вот она ватерная. От стены до стены протянулись длинные ряды причудливых машин. Крутились со свистом веретена. Неслись потоки нити — даже в глазах зарябило. Около машин неторопливо и как-то даже незаметно похаживали фабричные, больше женщины, с обнаженными по локоть рукавами.

Было в помещении влажно. Так влажно бывает в глухом бору после грибного дождя. Под потолками висела ясно видная на солнечном свету пыль, оседала на машинах, окнах, на головах ватерщиц. Запах чего-то кислого неприятного щекотал ноздри, даже замутило на миг.

— Вон смотрите, — сказал фабкомовец, кивнув на сидящих возле окон пожилых мужчин. Сидели они тесно друг к другу, как ожидая кого-то, нехотя переговариваясь.

— Работает фабрика у нас в одну смену, — пояснил фабкомовец, — да и то не вся. Люди слоняются без работы. Скучно, хотя и нелегкая она доля мануфактурщика, а тянет сюда. Посидеть да посмотреть — и то вроде бы, удовольствие.

Он провел их к последнему ряду машин, остановился возле высокой женщины. В ее руках мелькали тонкие нити пряжи. Как и все была она в белом платье, с голыми руками, босая. Обернулась — из-под платка седые пряди волос, глаза запавшие, кожа лица серая с желтизной. Почти уж старуха. Увидела Семена Карповича и как-то подалась вперед.

— Здравствуйте, Анна Георгиевна, — перекрывая шум, закричал Семен Карпович, — наведать тебя пришли, прямо на фабрику.

— Или с Николаем что? — тоже криком ответила мать Артемьева. И замолчала, будто горло перехватило. Смотрела на Шаманова с напряжением и страхом:

— Да пока на воле... Не ночевал он у тебя?

Артемьева быстро глянула на него и вроде бы как успокоилась. Перехватила порванную нить, еще что-то поправила. Как будто перестали для нее существовать непрошенные гости. Заговорила, глядя на машину:

— Приходил на днях вечером поздно. Принес в чемодане муки, да галет что ли то. Не взяла я...

— Раньше брала, — насмешливо вставил Семен Карпович.

Женщина кивнула головой.

— А сейчас не надо, — закричала сердито, — все голодают, а мы пироги печь. Велела забрать обратно. Или, мол, сама властям снесу... Заплакал Колька-то.

Она оглянулась на них — губы задрожали. Вытерла лицо ладонью, на щеке осталась мокрая полоса.

— Жалко мне его, Николу-то. Как волк рыщет, покою нет, злой, на все кругом лютый. Ночью во сне стонал, будто в жару был. Жутко мне было, даже плакала. От жизни он тяжелой стал таким. Как отца унесли, так с шестнадцати лет хлопок взялся таскать. Кормил сестренок, а сам голодный, бывало...

— А не знаешь, куда он пошел — склонился к ее уху Семен Карпович. — Мол, уедет из города или в деревеньку какую... Или же здесь адресочек какой сказал? Может кому-то привет и поклон просил передать?

Она как будто не расслышала. Вдруг по безумному быстро и громко заговорила:

— Не нужно. Переживу. Другие-то живут, ну и мы переможемся. Осталась соль напаренная от прошлого еще года. Так поеду в деревню и наменяю продуктов...

— Ты вот что, — оборвал ее строго Семен Карпович, — как появится — сообщать надо властям. Или вроде бы соучастие получается.

И даже попятился, обожженный ее взглядом, умоляющим и злым. Опять губы задрожали и побежали рябью морщины. Снова махнула ладонью по лицу, как сметывая паутину-тенето.

— Ну-ну, тетка... — только и пробормотал Семен Карпович. Он обернулся, оглядел собравшихся постепенно вокруг них ткачей. Были они в большинстве пожилого возраста — старики, старухи — все с пасмурными лицами. Послышалось:

— Как с продуктами, ничего не слышно? Долго на три фунта муки в месяц будем...

— Скоро ли врагов угоним?

— Озимова чего не ловите, или руки опустили?

— В деревни на менку не съездишь. Того и гляди без башки вернешься домой... И насчет жилья бы надо подумать властям.

Семен Карпович развел руками, сказал, как отрубил:

— Наше дело, граждане ткачи, маленькое. Не Совет народного хозяйства. Мы знаем только про шпану, да рецидивистов. Вот тут и спрашивайте. Да газеты читайте побольше, если есть грамота у кого.

И как ошарашил собравшихся. Даже фабкомовец, стоявший за спинами, нахмурился:

Так агенты и ушли при полном молчании. И непонятно почему — только остался от этого разговора в душе Кости неприятный осадок. Подумал, спускаясь по лестнице за своим учителем:

«Или нельзя было поговорить по душам с такими усталыми. Или нельзя было их порадовать чем-то».

Наверное, Семен Карпович, и сам понял, что слишком сухо разговаривал с ткачами, потому что сразу же за фабричными воротами сказал виновато:

— А что бы они от меня хотели? Или я пророк? Насчет Озимова еще спрашивают. А этот Озимов быть может сейчас бы до сих пор параши таскал в тюрьме. Я ведь его, Костя, в семнадцатом году, летом, арестовал. По подозрению на кражу пистолетов из румынского вагона. Ну, в Румынию везли оружие, а здесь кто-то разграбил. Арестовал я его, нашел при нем наган с откидным барабаном и шестью патронами. Он тогда еще в за-

пасном полку служил солдатом. Солдат и вор был, а сейчас говорят за офицера себя выдает, чин себе присвоил. Арестовал я его тогда, доставил к следователю. А следователь был Казюнин. Поговорил с ним да и выпустил. Тут цепь. Казюнин в преферанс бывало просиживал с поручиком Сеземовым — ну тем, что в «Царьграде» сидел в гостях. Сеземов из тех же мест, что и Озимов. Сын барышника. На продаже коней его папаша нажил себе помещичий дом. А у Озимова папа трактирщик. Так одно к одному — и выпустил видно. А теперь вот спрашивают с нас. Тут опустишь руки...

13

Где-то в лесах бродила банда Озимова, где-то надежно укрылся рецидивист Артемьев, стучали по булыжнику мостовых колеса санитарных линеек с ранеными бойцами, прибывающими в город с фронтов гражданской войны, был кусок колючего хлеба и луковица на ужин, были грохочущие выстрелами рассветы и озаренные пожарами ночи — и вместе с тем была любовь. Влюбился он в дочь извозчика, наверное, все же за улыбку. Эту нежную добрую улыбку она дарила ему, встречая во дворе, среди людской толчеи на улицах, с крыльца, где сидела однажды в простеньком платьице, босая, со штопкой в руках. Хотел подойти к ней, а ноги понесли сами собой к своему дому, в полутесный, пропахший мышами коридор под лестницей, в квартиру, где сонно и мерно тикают позеленевшие настенные часы, натужно скрипят половицы. Осторожно отдернул занавеску и опять наткнулся на ее улыбку. Шарахнулся от окна: все же неудобно подглядывать за девушками.

Александра Ивановна догадалась, заметила, наверное, как смотрит он на дочь Силантия.

— Ты, парень, вот что, — наказала ворчливо, — не очень-то глазей на Настьку. У нее женихов перебывала уйма. Никак выбрать не может. И капризная, да вертлявая. Да и рано тебе еще.

Лишь улыбнулся растерянно, не ответил, будто не расслышал наказ. Мало ли чего не нравится пожившим уже людям.

Почти каждый вечер Настя уходила в город, помахи-

вая сумочкой, напевая. И качалась зонтом широкая клетчатая юбка над желтым песком двора. Он, если было время, тоже не сидел дома. Нравился ему город, покрытый сумерками, обожженный сотнями огоньков керосиновых ламп. Как из-под земли выходили на асфальт тротуаров толпы нарядных девушек. С криками, хохотом, визгом уплывали в темное небо поблескивающие алюминием американские качели, громче, веселей трещали по камням пролетки, загорались огни электротеатра. На белом полотне, под грохот пианино и плач скрипок скакали кони, сверкали сабли, тонкие и гибкие женщины бросались в объятия тонких и гибких мужчин.

—Таким бы вот, — завистливо размышлял, возвращаясь за реку, — таким же вот смелым. Скакать на коне, стрелять из нагана, прыгать с утесов в водопады. Тогда бы он храбро подошел к Насте, присел к ней на крыльцо, заговорил бы. Скажем про кино «Масоны» или про маскарад, который культурно-просветительная комиссия готовила на днях в городском саду...

А она сама подошла первая. Как-то пилил чурбан, выловленный из реки, услышал за спиной:

— Здравствуй, трудовой человек...

Обернулся и увидел Настю. Так же одетая как и всегда, с сумочкой, закинутой на плечо. Теперь разглядел легкий пушок над верхней губой, синие каемочки под крупными бледно-синими глазами, ямочка на щеке, ровный лоб, на котором двигались в порывах ветерка прядки рыжеватых волос.

— Пойдем, погуляем, — предложила тихо и как-то стеснительно. — Посмотри, как хорошо на воле. Не то что здесь, у сарайки...

Он нерешительно помотал головой, покраснел жутко и разом:

— Некогда. В обход пойдем сегодня вечером с Семеном Карповичем по городу.

И, совсем растерявшись, опустился на отпиленное полено. На миг увидел перед собой ноги в красивых чулках, полуботинки со шнурками и около подошвы бегущего бронзового жука. Она не поверила видно в его слова, потому что рассмеялась коротко и зло:

— Наговорили уже, успели...

Повернулась круто, так что визгнул песок под каблуками, взметнулась черная нижняя юбка. Едва не бежа-

ла среди бурого чертополоха, поднялась на мост — замелькала среди ферм ее клетчатая блузка.

Может со зла повстречала она парня в желтой куртке. Может, чтобы отомстить ему, Косте Пахомову. Только ближе к полуночи опять увидел ее. Вышла из-за приземистых домиков и халуп мрачного переулка Соленого ряда, перешла булыжный спуск возле ограды у церкви и спустилась на залитую лунным светом, широкую тропу возле реки. Помахивала сумочкой, откинула голову. Шел рядом с ней этот парень в желтой куртке, черном картузе, высокий и плечистый. Шел легко, красиво выкидывая ноги, обутые в сапоги. Правую руку он сунул в карман, левой обнимал Настю, что-то говорил ей. Она засмеялась, пронзительно и не скажешь, что весело. С косогора, где остановился Костя, хорошо были слышны голоса, смех и шаги по сухой соженной июльским солнцем земле. По сожженной тоже траве, по канавам и ямам тянулись к ногам невидимые горькие дымки, запах воды, рассола, нефти и гнилого дерева. Дома сверху казались развороshенными стогами. Возле берега застыли нефтяные баржи, поблескивая металлическими поручнями. Лодки в тени их бортов были черны, словно бы засыпанные сажей. От заборов яростно взвизгивали собаки, где-то трещали доски — то ли их ломали ногами, то ли перерубали топором. На воде поблескивали длинные дрожащие круги. Их блеск на миг озарил лицо парня — широкое, с белыми прядами волос под околышком картуза. У Кости екнуло сердце тревожно.

— Семен Карпович, — крикнул он негромко. Семен Карпович вылез из каменного пролома в стене сожженной в мятеж гимназии. Подошел, охлапывая осыпанную известкой кепку о колено. Проворчал сердито:

— Кто-то ночевал в этих камнях, а услышал нас, смылся. Только и есть что табачный дух оставил. Да не один был — двое или трое. Один так бы не начадил. Ну да ладно. Что у тебя тут?

— Вот идет парень, — показал Костя на идущих внизу. — Похож очень на Маму-Волки. И рост, и лицо, и волосы белые...

Семен Карпович положил руки на маленький заборчик, отделяющий набережную от откоса и пригнулся, всматриваясь пристально. Пара тем временем миновала погнутые заборы возле самого берега и скрылась за сте-

нами двухэтажного бревенчатого дома. Только тогда Семен Карпович ответил, вроде как нехотя:

— Нет, это не Мама-Волки. Тот поуже в плечах. Да и будет ли так разгуливать. Ты вот что, — приказал он, натягивая кепку на голову и беспокойно оглядывая пустынную набережную, кусты, белеющие в лунном свете колонны разрушенной гимназии.

— На сегодня находились, хватит. Я зайду в розыск, а ты топай домой...

И Костя потопал домой. Чтобы не думать мучительно о Насте, стал вспоминать как сегодня они были на маскараде в городском саду. Замелькали перед глазами прикленные бороды, усы, парики, яркие камзолы, кафтаны, башлыки, папахи. Вот две цыганки, одна из которых похоже парень. Вот «летучая мышь», обтянутая в тонкую материю. Вот на скамейке «гусар», а рядом с ним раскрашенная девица в маске, в коротенькой, выше колен юбке. А вот вышла из аллеи навстречу еще одна ряженая в маске с белым кулем в руках. На груди у нее было написано на бумажной ленте «ночные прогулки». Прошла мимо и можно было читать уже на спине тоже на бумажной ленте «довели до люльки».

Семен Карпович долго смеялся, даже слезы выступили на глаза. Добродушно ворчал вслед девице:

— Из богатых видно. Бесятся они с жиру. Позабирались в штабы, да всякие там инспекции, пайки красноармейцев получают. С краюшки хлеба такая дурь в голову не полезет...

Потом на танцевальную площадку выбралась пара. Юноша в черной маске был обвешен с ног до головы картошкой, луком, морковью, свеклой и на груди у него болталась дощечка с надписью: «хорошо хоть это есть». Девушка была накрыта пучками из свежей травы. На спине у нее тоже качалась дощечка с надписью: «нет галантереи, походим в лапушнике».

Костя возмутился. На фронтах идут бои, люди кровью может быть в это самое же время истекают, может в атаки идут под пулями. А им, и верно буржуйским сынкам да дочкам, хоть бы что. На это Семен Карпович строго ответил:

— Это уже политика, Константин. А политикой пусть Чрезвычайком занимается. Вот если бы кошелек у кого

стянули — мы тут как тут. Так что пусть-ка молодежь бесится себе на здоровье...

И опять как там, на фабрике, остался в душе у Кости какой-то осадок, какое-то недовольство. А вслух ничего и на этот раз не высказал, покорно побрел вслед за старым агентом к выходу — надо было «заглянуть» в один притон, да обойти набережную возле разрушенной гимназии...

В общем воспоминаний о сегодняшнем вечере Косте хватило до самого дома. Но вот стоило лечь в кровать, как словно бы наяву увидел залитую солнцем тропу у реки и парня в желтой куртке и ее, Настю, смеющуюся весело. Куда они шли? Зачем шли? Отодвинул занавеску. Блестело крыльцо у дома Силантия, на красной стене каретника плясали, как яблоки, тени листьев старой березы.

— Маешься, Костюха, — донеслось, заставив вздрогнуть даже, из соседней комнаты. — Видно нелегко тебе. И осунулся. Да и во сне бывает кричишь, ругаешься. Может тебя в тюремную охрану? Паек и там приличный, служба тихая, спокойная, знаю, как третий год в уборщицах. Подумай-ка, а то завтра и поговорю с начальником....

Не ответил, притворился спящим. А сам решил ждать, когда она вернется. Только не заметил, как заснул. Когда проснулся — первым делом глянул на двор. Горела теперь ярко стена каретника, дразнилась глубокими щербинами в кирпичах. И тогда затосковал с большей силой. Решил сегодня же отпроситься у Семена Карповича съездить в село, повидаться.

14

В селе было как и прежде и вместе с тем Костя уловил что-то необычное. Выехала из прогона подвода. На стоге сена — бывший лавочник Камышов. Уставился немигающими сонными глазами:

— Ну, кем теперь величать изволите?

— В уголовном розыске. Агентом.

Сочно влип кнут в мокрую спину лошади. Затрещали гужи — того и гляди кувырком крутанется Камышов с воза.

— Иэх ты, — орал, да так, что во всех переулках было слышно, — еще один комиссар в село явился.

Костя растерялся. С чего бы это так разошелся Камышов?

Разъяснил Петр Петрович Дубинин. Подозвал к себе, увидев Костю из окна. Сидел волостной милиционер за кухонным столом, на котором пел тихонько самовар. Волосенки жидкие да седые слиплись на лбу, блестели, будто смазанные репейным маслом. Тоже как и Камышов первым делом спросил про службу. Вот он обрадовался, услышав ответ.

— Костюха-то наш, слышь, — крикнул жене, громыхавшей в кухне, — тоже как и я, в милиции служит, в уголовном бюро. Это хорошо, — прибавил он, — все подмога. А то тут у нас каша может завариться. Сейчас сходка будет. Приехали из уезда начальник милиции, да военком, насчет мобилизации лошадей. Воевать-то вон приходится как много. А народ, те скопидомы вроде Камышова, да Побегалова, да старосты Кривова, да Епифана, да Семенова уже с утра как белены объелись: мол, грабеж средь бела дня... Так-то бы ничего, пусть орут, да бандой Озимова стращают. В красноармейцах служил даже, а как папу потрясли, так и взялся ходить по лесам, да по кустам, с дезертирами стакнулся. Будто где-то по слухам неподалеку. Грозит, дескать, Озимов перестрелять всех, кто богачей наших посмеет обидеть. Ну, меня смертью он не испугает, повидал всего на войнах-то. А вот за товарищей из уезда побаиваюсь сильно, попадут как куры во щи. Оружие-то у тебя с собой?

— Не дали еще, — смущенно ответил Костя, — учат стрелять пока. Потом дадут.

— Ну, конечно, не сразу такое дело. Сначала проверят кто ты да что, да годишься ли, а уж потом и наган запишут... Ну, все равно ты на сходке будь.

— Ладно, — ответил, перекладывая из руки в руку мешок с бельем для стирки, ландрином, махоркой, с цинковой банкой из-под пороха, в которой привез соль-бузун. А про себя подумал: «Мне-то что эта сходка, у нас лошади нет».

Мать он встретил во дворе, у крыльца. Размешивала на корытечке корм курицам. Обрадовалась, точно год не видела, а как узнала, что сын теперь агент розыска — испугалась:

— Господи, в ткачи хотел... Или не видишь, что творится кругом. Дезертиров полно в лесах.

— Не бойся, — успокоил, — я обученный всему.

Рассказал матери и о том, как он приехал в город, как встретил Александру Ивановну, как устроился на работу, расхвалил своего учителя Семена Карповича. Да поговорить много не пришлось: мимо двинулся народ на сходку. Положил мешок в сени и тоже с матерью пошли к избе старосты, огромному пятистенку. На каменном фундаменте и высоких ступеньках крыльца, в сенях повиснув на подоконниках — все люди. В избе жара, духота, табачный дым, как синий туман.

Огляделся, надеясь увидеть Марию, но кругом лишь пожилой степенный народ — старики, старухи, женщины помоложе вроде Костиной матери. В красном углу за столом, накрытым нарядной скатертью, несколько человек: начальник милиции в зеленом военном обмундировании, рядом с ним военком, бритый наголо и толстый, под окнами старик Дубинин с суровым лицом, и незнакомый мужчина из волисполкома. Вот он склонился к военкому, сказал что-то и тот поднялся грузно из-за стола, оглядывая собравшихся жителей села. Гомон стал постепенно затихать, оставляя лишь глухой кашель.

— А не выведете завтра лошадей, будем считать вас врагами советской власти. Долгие разговоры только на пользу Деникину.

Деревенские богатеи, сидевшие кучкой возле окна, закрутили головами. Поднялся Камышов, улыбаясь, а руки не находили покоя: то за спину их спрячет, то в карманы сунет.

— Что ж это получается, советские граждане комиссары? У кого ничего нет, тот и царь, и господин нынче. А кто горбом своим нажил хозяйство — тот паразит и враг советской власти. Запустили нам сначала революционный налог — ни много, ни мало — мне надо две тысячи выложить, надо хлеб свезти задарма, а теперь и самую ходячую лошадь со двора — а пахать на себе. А может лучше петлю на шею да к ногам всевышнего каяться в грехах...

— Вот-вот, — так и подскочил Петр Петрович, — пора тебе в грехах каяться. Чужим потому что горбом, а не своим нажил ты хозяйство. Сколько леса ты продал как был в лесниках? У Федора Бекренева надел задарма

купил, перепродал в три раза дороже, избу у Никитича перекупил и тоже продал по «божеской» цене, а сезонных рабочих на покосе как надувал, вспомни. Как работников своих шпынял, шую, мне лично, за хорошее зерно ссужал...

— Ах ты, гнида, — заверещал, потрясая над головой кулачищем, Камышов, словно позабыв совсем, что перед ним сейчас не просто односельчанин Дубинин, а волостной милиционер, — у тебя-то добра один колун.

Петр Петрович тоже взбеленился:

— Если я гнида, — сорвал он в крике голос, — то ты вошь толстопузая и таких как ты, я стрелял в прошлом году на Дону вот из этого австрийского карабина.

Согнувшись, потащил из-за стула, короткий, поблескивающий вороненым стволом, карабин. Сходка так и ахнула. Кто-то визгнул, кто-то затолкался к выходу. А Камышов еще больше выкатил желтые совиные глаза и сделал шаг назад, как собираясь бежать в толпу.

Усмирил Дубинина начальник милиции. Он усадил его на свое место и строго погрозил пальцем. После этого поднялся и погрозил уже Камышову:

— Мы вас, гражданин, можем арестовать за оскорбление должностного лица, вообще если будет такая кутерьма, то вызовем конную милицию.

— Во-во, — злорадно буркнул из угла Егор Иванович Побегалов, — с этого бы и начинали. А то сходку зачем-то собрали, речи красивые ведете.

Военком пояснил раздраженно:

— Добром потому что хотим уладить. Как вы, граждане, не поймете, что Красная Армия ждет коней. Чтобы отразить наступление Деникина, нам нужна большая конная сила...

— Добром отбираете, — крикнул сидевший рядом с отцом Митька Побегалов. Крикнул и испугался, опустил голову чуть не к коленям.

Опять сходка ахнула от такой дерзости. Егор Иванович звонко треснул сына по загривку и, обращаясь к начальству из уезда, извиняющим голосом попросил прощения за сына.

— Малахольный он у меня какой-то, так что не обращайте, товарищи власти, на него внимания. А уже дома я с ним покруче еще поговорю, выбью дурь из головы...

И еще раз шлепнул сына по затылку. Уж кого бы

Костя отвез в город в розыскное бюро, так это Митьку. Ишь разоделся: в картузе с лакированным козырьком, в атласной голубой рубашке, подпоясанной тонким ремешком с металлическими насечками. Присмирел, будто и нет его здесь в избе.

С руганью забуравился из сеней в избу Епифан Сажин, еще один из сельских богатеев, торговец цикорием — старик уже, высокий и костлявый, с красивым лицом. Был Епифан крепко пьян, видно падал, пока шел на сходку, насобирал на длиннополый темный пиджак птичьего пуху, свежего куриного помета. Шмыгнув мокрым носом, погрозил кулаком и закричал тонким звонким голосом:

— А Деникин на Москву уже наступает. Скоро и сюда придет. Тогда вам, господа революционеры, придется туго. Защучат вас под жабры. Придется тогда наше барахло да хлеб из своей мошны трусить...

Тут уж и начальник милиции не выдержал, нагнулся к Дубинину. И по рядам шорохом листьев его слова:

— Взять и препроводить завтра в уезд... взять и препроводить за распространение слухов...

Епифана вытянули в толпу, оттуда на крыльцо.

Стоявшая впереди соседка Пахомовых на посаде, проговорила, обращаясь почему-то к Косте:

— Похлебает теперь Епифан водицы. А то и вовсе домой не вернется. Теперь больно много с богатеями не разбираются, слышала я.

Кто-то из толпы:

— А Озимов рядом, вот и смелые. Защитников из лесу ждут со дня на день. Можно агитировать...

Навел порядок на сходке староста Игнат Ильич Кривов. Поднялся он со скамьи, постукал в стену костяшками пальцев. Розовый с проплешинами в седых лохмах волос, с бородищей, из которой лишь мясистый нос, да оскал черных обломков зубов:

— Вот так-то лучше. Пусть говорят власти. А ваше дело слушать, да помалкивать, да выполнять советы...

Тишина в избе, ровный спокойный голос военкома успокоили Костю. Ну, сходка и сходка. Разве раньше не ругались мужики. Из-за покосов хотя бы. Чуть до драки не доходило дело. Да все миром кончалось. И здесь все утрясется. Пошумят мужики, да согласятся. Помогать надо же Красной Армии. А вот Мария могла обидеться

или возьмет да и уедет куда-нибудь сегодня, а ему завтра утром уже надлежит быть на службе, в цейхгауз больницы собирались с Семеном Карповичем.

— Я отлучусь, — сказал матери и стал пробираться к выходу. Возле дверей как кто дернул за руку, оглянулся. Осуждающе строго смотрел на него Петр Петрович.

«А куда же это ты, Костя? — говорили его глаза. Тут же нашел чем оправдаться: «Сам-то в семнадцать лет не ахти рассиживал на сходках». А увидел в огороде Марию и вовсе позабыл про старика. Полола Мария овощи. Была одета в красный сарафан, на голове белый платочек, перехваченный узелочком на подбородке. Разминала босыми ногами сухую землю. Еще издали, заслышав шаги, распрямила спину, раскинула руки с пучками сорной травы. Не улыбнулась даже, так с пучком травы и подошла к изгороди. Глаза в землю смотрят, губы надуты капризно. Засмеялся Костя, сунул в карман сарафана кулечек с ландрином.

— Гостинец тебе, Мария, из города.

Мария улыбнулась наконец-то и пучки травы полетели по сторонам врассыпную. Пробасила с упреком:

— Попер зачем-то на сходку... Эко...

Мигнул ей ласково:

— Пойдем-ка, погуляем за овинники...

И ни слова больше упреков. Вымыла руки в бочке, вытерла их о подол сарафана, словно подразнив Костю своими пухлыми коленками и скользнула за изгородь. Шла она впереди, размахивая руками по-солдатски, он сзади. Обнять себя не позволила.

— Но-но, — погрозила пальцем, — хоть ты и агент, да все равно не купленная.

Что на сходке он был знала, и что агент — тоже. Догнал, за руку схватил. Рванулась было Мария, да сил не стало больше — опустилась на бревно возле овина.

Прижалась горячим плечом, зазывно глянула в глаза и отшатнулась, спросила, не то с обидой, не то с удивлением:

— Чо эт ты, Костяня, ровно больной или спать захотел?

Все так же, как сквозь стекло, глядя на Марию, сказал:

— А хочешь я тебе юбку в клетку куплю и блузку тоже клетчатую. Станешь тогда как горожанка...

Визгливым смехом отозвалась Мария, а он подумал с досадой: «Зря пришел к ней ты, Костя, раз в голове другая»...

15

Среди ночи разбудила мать. Услышал ее торопливый голос:

— Чужие в селе, Костя. Может спрятаться тебе?

На улице пронесся кто-то на лошади, еще простучали копыта, и еще. И все затихло снова — только издалека доносился, замирая, скрип колесных осей, точно стрекот сверчка за печью.

— Ничего, — ответил матери, — мало ли там кто, спи...

Вроде бы успокоил мать, легла в кровать. А лишь забылся на минуту, как в дверь забарабанили.

В нижней рубахе, натянув штаны, выскочил в сени. Ожгло холодом, набегающим сквозь щели. Подумал было: «Уж не Мария ли пришла? С крыльца закричал кто-то, не сразу понял, что это голос Митьки Побегалова:

— Эй, хозяева, хлев горит, что спите...

Судорожно откинул щеколду, выскочил на крыльцо, кинулся мимо стоявших на ступенях парней к хлеву, выискивая глазами со страхом красные языки пламени. И тут крепкие руки сжали локти, вывернули их с хрустом, так что вскрикнул от боли. Его потащили с крыльца. Только теперь, кроме Митьки Побегалова разглядел двух братьев Клячевых из соседней деревни Латухино. Оба в длинных пиджаках, хромовых сапогах, черных кепках, на них крест на крест два листа. У обоих за спинами винтовки. Старший из них, Максим, с папиросой в зубах, остановился и с размаху ударил Костю по уху:

— Морда сыщицкая...

— Погодь, — произнес тихо его брат, поменьше ростом и в плечах потоньше. — Озимов разберется. Заслуживает если, то и схлопочет...

Митька почему-то засмеялся. Шел он сбоку, помахивая револьвером. Посматривал на Костю, но молчал. Возле пруда их догнала мать, простоволосая, босая, кричавшая в голос:

— Куда же вы его повели, господи, люди добрые. Митя, ведь соседи же.

— Митя, люди добрые, — передразнил ее старший Клячев и оттолкнул рукой. — Не мешайся, матка. Сейчас наш командир разберется что к чему, подожди малость.

Мать пошла стороной, как тень, всхлипывая.

Деревня, несмотря на полночный час, гудела. Хлопки калиток, говор, ржанье лошадей — все заставляло думать, что фандековцы смешали ночь с рассветом и вот собираются выезжать, как всегда гурьбой, на покосы за реку. Возле избы старосты Кривова, куда подвели Костю, сидел на лошади всадник с саблей на боку, с винтовкой поперек седла, похожий на куль. Он свесился едва не к паху лошади, разглядывая арестованного и спросил весело:

— Кого это накрыли?

— Из города, — ответил старший Клячев, — красный сыщик наведался к маме.

— Ну-ну, — как-то радостно проговорил всадник, — веди его к Озимову, он сыщет ему подходящую статью.

Костю ввели в избу, полную табачного дыма, звона стаканов, шарканья ног, кислой вони самогона. На столе, за которым еще недавно сидели приезжие из уезда начальники, блестели сейчас в свете кересиновых ламп бутылки, чашки, стаканы, лежали на тарелках куски жареного мяса, ломти хлеба. Мужчины и парни — хмельные, говорливые, — кричали, обнимались, целовались, как в престольный праздник. Двое или трое, не в лад, тягуче пели:

«Дым валит, острог горит.
Споверь, еверь, ерки, марки,
Споверь-споверья...».

Среди сидящих узнал Егора Ивановича Побегалова, положившего голову на локти. Что-то кричал ему в ухо Камышов и поглаживал рукой затылок бывшего владельца пароходов в Петербурге. Тот поднял всклокоченную тяжелую голову, уставился на Костю мокрыми от слез глазами, трахнул кулаком по столу, что есть силы и завыл, тонко, будто ему в живот воткнул кто-то из-под стола раскаленную пику. Громче и слаженнее теперь затянули певцы:

«Я за этот за поджог
Попаду опять в острог
Эх, споверь еверь
Ерки, марки,
Споверь-споверья»...

Давайте его сюда,—раздался громкий повелительный голос от угла стола. — Рад буду потолковать запросто с красным сыщиком.

У окна, положив локоть на подоконник, заставленный горшками герани, сидел и попыхивал папиросой большерослый мужчина лет тридцати, встрепанный, носатый, с выпуклыми, редко мигающими белыми глазами. Встретившись с этим взглядом, Костя даже вздрогнул, невольно подался назад, к двери, за которой с улицы доносились плачущие женские голоса. Младший Клячев, державший его под руку, засмеялся:

— Вона, его уже и ноги не держат. В штаны не наклал ли?

Слова эти и насмешки сидящих за столом зеленых обозлили и успокоили. Легко отбросил руку Клячева в сторону, подумав с бесшабашным весельем: «В другом бы месте нам сойтись, только бы и видели на земле с красными соплями».

— Но ты, — закричал Клячев, оскалил зло зубы и вскинул приклад винтовки.

— Дай, дай ему по зубам, поучи стервеныша, — подзуживал Камышов, — а то чуть с горшка и нам на шею комисарить. Спрашиваю его сегодня, а он мне...

— Бросьте вы наседать на него, — проговорил носатый как-то вроде доброжелательно к Косте. — Парнишка еще молодой, что там спрашивать. Поди от титьки только-только мать отучила, а туда же в сыщики красноголовые...

Сидевшие за столом опять засмеялись и подобревшие загудели. И чудилось — грянь гармонь кадриль — как все они сорвутся со стульев, забарабанят сапогами...

«Эх, споверь,
Еверь, ерки марки» —

не обращая ни на что внимания голосили певцы.

Пошатываясь, прибрел из кухни староста с миской овощной окрошки, перемешанной яйцами. Остановился подле Кости, разглядывая, как припоминая что-то. Обернулся к носатому, попросил:

— Уж вы бы, господин Озимов, не трогали этого парнишку. Молодость может заставила его пойти в такую контору. Не разобрался еще что к чему. А потом как видно не очень-то он одобряет советские законы, да указы.

Поглядел я как он сегодня днем со сходки ушел. Послушал, повернулся и в дверь. Значит что-то не по душе было. Не пожелал быть свидетелем грабежа... Так что ли, Костька?

За столом сразу стихли, все ждали, что он ответит. Вспомнился тут Косте Семен Карпович с его правилами и нехотя, сквозь зубы, выдавил:

— Чины уголовного розыска в политику не вмешиваются.

Сидевшие за столом остались довольны ответом, потому что загомонили снова, заулыбались дружелюбно. Даже на лице Камышова появилось некое подобие улыбки, а Побегалов, хрипло рыкнув, потянулся к бутыли с самогоном. Доволен остался ответом и сам Озимов. Он налил в стакан самогона и протянул Косте:

— Выпей-ка за власть свободного крестьянства без коммунистов.

Костя помотал головой:

— Не пью...

Поугрюмел сразу Озимов и плеснул в лицо Косте самогон, зарычал, выставив тяжелую челюсть в глубоких кровоточащих порезах от бритвы:

— А с красными так пьешь, наверное!.. Или у них послаще самогонки?..

— А красные по ночам не стаскивают с постели, — ответил тоже со злостью, — да еще по уху заехали.

— Ишь ты, сосунок, — язвительно и уже тихо сказал Озимов, — разговорился без вина. Язычок-то как у большевичка, так и попахивает. Может нам тебе его вырезать сейчас напрочь, да собакам бросить...

— И верно, не трогал бы ты его, Дмитрий Васильевич, — раздался чей-то знакомый голос из дальнего угла избы, где за другим столом, поменьше размером, сидело несколько человек, одетых по-городскому. У говорившего оттопыренные уши, глубокие зализы на голове, красные воспаленные глаза. Как он здесь очутился? Ведь он же собирался через три дня уезжать на деникинский фронт? А рядом с ним еще один знакомый — мужчина с патлами пегих волос — что вез в город ведро с чем-то.

— Парнишка молодой, — продолжал Сеземов, — подтверждаю, что он в политику не вмешивается. Я думаю, нам он и в будущем не повредит.

Озимов пригубил из стакана, ковырнул вилкой в чашке, потом махнул рукой:

— Ладно, сыщик. Ставь свечку в церкви как вернешься в город. Заступников больно много развел. Вот уж если бы Шаманов мне попался, я бы его в дерьмо носом натыкал, чтобы нюх отбить. Он меня как-то чуть в тюрьму не посадил... Его туда, а комиссаров собирайте в дорогу, — приказал он, подымаясь из-за стола.

Братья Клячевы, открыв дверь чулана, с силой толкнули Костю в темноту. Попытался ухватиться за стенку, а рука скользнула. Свалился на кого-то, проговорившего со стоном:

— Ух ты...

— Эй, вы, — закричал Максим Клячев, — выходите. Хватит рассиживать.

Свет керосиновой лампы осветил чулан и Костя увидел военкома, потиравшего грудь. Лицо его и без того круглое, распухло от побоев, на нижней рубахе, на кальсонах пятна запекшейся крови. Рядом, как игрушка-«неваляшка», покачивался из стороны в сторону начальник милиции в своем зеленом обмундировании, только босой. Вот он поднял голову — вместо рта кровавая опухоль. С помощью военкома медленно поднялся на ноги. Третьим отделился от стены, и пошатываясь, пошел к выходу Петр Петрович Дубинин. Волостной милиционер был в одних кальсонах, спина перекрещена вдоль и поперек кровавыми полосами. На пороге он обернулся, попросил Костю — голос был глухой и злой:

— Коль до наших доберешься, пусть этим сволочам припомнят сполна.

Начальник милиции тоже остановился, но лишь промычал, как глухонемой. Его рванули за руку, втянули в избу. Военком на ходу протянул Косте руку, она была влажная, может от крови, может от слез и проговорил быстро:

— Не забывай нас, парнишка...

Дверь чулана с визгом захлопнулась, звякнул засов. В избе топотало, доносились непонятные крики. Послышался пронзительный и полный ненависти голос Дубинина:

— Да я тебя и на том свете разыщу паразита такого. И там тебе покоя не дам.

Звякнул опять засов и появился человек, с порога выкрикнувший негромко:

— Эй, парень!

Костя пригляделся. В проблесках света, брезжущих из избы, узнал Сеземова. Тот подошел ближе и все крутил головой на дверь как боялся, что их подслушает кто-то. Руки не знали покоя, так и ходили ходуном. Поучающим голосом заговорил:

— Ты, парень, подумай о своем житье. Сейчас такое время — или будешь с пулей во лбу лежать в канаве, или же можешь стать орлом. Коль историю не знаешь, так скажу тебе, что Наполеон тоже был никто. Вроде тебя вот такой же паренек. А воспользовался суматохой и все под себя закрутил. И тебе может подвезти, парень, крепко, коль умным да сообразительным будешь.

— Чего это вы? — хрипло бросил Костя.

— А то, что думать надо, — уже грубо выкрикнул Сеземов. — Будешь молчуном, запомним это. Власть должна перемениться. Так что кумекай. Чин получишь. Может, сам заправлять станешь розыском, другие будут у тебя в подчиненных...

— Не хочу я заправлять — незачем...

— Не хочу, незачем, — передразнил его Сеземов. — Не нюхал еще, значит, патоки на шиле... Ну да ладно, — пробормотал он и оглянулся, потому что в избе затопали опять, загремели столы.

Заглянул в чулан мужчина в холщовом картузе:

— Поехали уже, господин поручик,.. и умело четко вскинул ладонь к виску.

— Ну, ладно, — снова сказал Сеземов и шагнул к порогу, задвинул засов со скрежетом.

Немного погодя с улицы послышались выстрелы — один, другой, третий. И истошные крики, плач, топот копыт, скрип телег, постепенно затихающий за селом.

Прижавшись грудью к стене, Костя смотрел в крохотное отверстие окошечка чулана. Видел край забора, копешку сена и в ней воткнутые вилы, да еще край неба, нежного от желтизны просыпающегося солнца. Блестели березовые жерди у амбара, сваленные в груду.

В избе опять затопали — узнал голос матери и тут же старосты Кривова:

— И что ты, Васильевна с ума сходишь. Говорю же тебе, что целехонек твой Костька. Меня благодари, свечу

в церкви ставь на мою доброту. Стал быть, он его тоже как к стенке захотел, а я ему, мол, не надо...

Звякнул засов, и мать повисла на шее, вся в слезах. Следом за ней, с трудом держась на ногах, вошел староста. Поднял лампу, разглядывая неодобрительно чулан, покачал головой:

— Эка, весь чулан кровью замазали. Ну и били же их, не приведи господь. Что им — здоровенные бугаи, да злющие, да еще самогоном накачались. Мою Верку всю ищипали, да обшарили, пока закуски таскала им на стол. Даром Верка, что гренадер, а не выдержала, куда-то к ночи захоронилась и сам не знаю, искать надо. А ты, Костя, вот что...

Глазки его под мохнатыми бровями забегали вороватo:

— Если вернутся из города комиссары, да допрашивать станут, замолвь за меня словечко. Мол, по принуждению принимал незваных гостей из леса Кривов.

— Скажу я, как вы чашки со сметаной таскали гостям, — ответил, сжимая кулаки, — пойдем, мама.

Кривов проводил их до порога и уж в дверях проговорил как-то задумчиво:

— Может, и зря я тебя пожалел, Костька... Ну да бог, чай, не потерпит несправедливости...

На это уже мать ответила с гневом:

— А вон у лабаза людей положили — это что, справедливо?

И также тихо задумчиво ответил Кривов:

— Так уж значит им было на роду написано. Не нам тут судить господа бога, Васильевна, не нам.

Вслед Косте, понуро двинувшемуся через улицу к шумящей толпе возле лабаза, сказал:

— Чай, не один я, Костька, видел, как ты ушел со сходки. Против советских законов, не иначе...

Слова эти не сразу дошли до сознания. А тут предстояло еще одно испытание — увидеть расстрелянных людей. Толпа при его появлении зашевелилась, расступилась, давая дорогу. Смотрели на него и с жалостью и любопытством, как бы говорили эти глаза вокруг: «Вот и ты так же мог бы...»

Военком с почерневшим, как чугун, лицом уткнулся головой в кирпичную стену. Начальник милиции согнулся пополам, обхватив руками живот. Петр Петрович лежал,

скрестив на груди руки, приглаженный. Рядом с ним прямо в пыли сидела его жена, терла лицо ладонями, вскрикивала.

— А Пахомову ничего, — проговорил кто-то в толпе,— пожалели по молодости, знать. Или в родстве каком с убивцами.

Как ладонью руки, наотмашь по лицу хлестнули его эти слова. Выбрался из толпы и едва не бегом домой. Быстро собрал вещи, распрощался с матерью. Молчала она все это время, пока он метался по избе, как слепой, натыкаясь на стулья, скамейки, чугунки, ухваты. Лишь напоследок попросила:

— Береги себя, Костюша, хотя бы ради меня...

16

Вагон был забит пассажирами. Сидели едва не на коленях один у другого, стояли впритир, лежали плотно на нарах: крестьяне с бидонами, корзинами, красноармейцы, раненые, едущие из лазарета, железнодорожники в масляных куртках с сундучками, мешочники с дубовой кожей лиц. Некоторые еще дремали, но большинство вели лениво разговоры между собой. В соседнем купе кто-то старческим голосом с кашлем и паузами, уходящими, видно, на затяжку папиросой, стал рассказывать громко:

— Пришли они ночью, шут их знает сколько. Колесникова измотали так, что и разум отбили. Комитет бедноты, видно, ему припомнили. А бабу его, Надею, ну знаешь, может, дочка каталя Петра Прошкина из Семендяева, заездили на сеновале тоже чуть не до смерти. Пряталась она там, да вишь, разыскали. Потом голышом в гряду выкинули. Старухе, матке Колесникова, пинков надавали сапогами так, что пластом лежит до сего да и встанет ли теперь. А напоследок зажгли хутор и поехали. Чтобы светло было ехать, что ли. Озоруют да и только...

— Не иначе, как Дима Озимов, — донесся чей-то спокойный голос с верхней полки.

— А шут его знает. Озимов ли, аль там Иван Косовицын... Пришли и ушли, а Колесников с бабой до сего не придут в себя. Хорошо, что дочки в гостях были у каких свояков.

Костя знал и Колесниковых и их дочек. Одной лет десять, другой лет двенадцать-тринадцать. Сама Надея, жена Колесникова, приходилась матери дальней родней. Прошлую зиму ездили к ним на лесной хутор за сеном. Надея — высокая полная женщина — встретила их радушно. Угостила цикорным чаем, напекла оладьев на скоромном масле, даже по куску сахару не пожалела к чаю. Сидела за столом, слушая рассказы матери о житье в Фандекове и все приглаживала гладкие и желтые, что спелая рожь, волосы. Много было всяких разговоров за шумящим самоваром, а особенно запомнилось, как Надея потрепала его один раз ладонью по щеке и, сощурив в серой дымке глаза, сказала:

— Ну, Васильевна, скоро и твой сын начнет женихаться. Жди до петухов...

Закрыл глаза. Пришли они и ушли... Пришли они и ушли... Пришли и ушли...

И всплывало мохнатое лицо Игната Ильича. Говорил он, поблескивая хитро глазами:

— Не один я видел, как ты со сходки ушел... Не один я...

— Не один я видел... не один я... не один я... — выстукивали безмятежно колеса под вздрагивающим полом. Смотрел теперь на него носатый белоглазый мужчина, со стаканом самогона в руке и слышал свои слова: «Чины уголовного розыска в политику не вмешиваются».

От этих слов улыбки за столами. Даже Камышов повеселел.

— В политику... в политику... в политику... — выстукивали теперь колеса новые слова. А почему эта банда сразу повеселела и подобрела? Что если так вот сказал бы им Петр Петрович?

— Я тебе и на том свете... Я тебе и на том свете... Я тебе и на том свете, — кричали за волостного милиционера колеса.

Душно стало, полез к выходу, сминая на своем пути пассажиров. Те забранились, пихали локтями, оглядывали его. В тамбуре тоже было полно пассажиров, толкующих о бешеных ценах на рынке, о мибилизации в Красную Армию, о банде Дмитрия Озимова, о тифе сыпном.

Ветер влетал за ворот рубахи, пожигал холодком. Неслись по сторонам перекрещенные колеи проселочных

дорог, мелькнули путевые будки, показывались деревни и белые стены церквей. Тут и там катили на телегах одетые в цветастые одежды крестьяне, долго глядевшие вслед поезду.

Поуспокоился, даже захотелось есть. Вытащил из кармана горбушку хлеба, откусил с удовольствием. Стал жевать, да вдруг рука повисла в воздухе: у другой двери тамбура, привалившись плечом к косяку, стоял и покуривал Сеземов. В солдатской шинели, мятой фуражке с засаленным верхом. Из-под околышка фуражки выпирали уши. Вот он пригнулся, что-то сказал присевшему на корточки парню в матросской бескозырке без ленты и тот захохотал. Сеземов тоже усмехнулся снисходительно, швырнул небрежно окурок в окно.

Поплыли за окном пристанционные постройки, будки, пакгаузы, заброшенные железнодорожные вагоны, бараки. Заскрипели натужно тормоза и одновременно с остановившимся составом пришло решение. Вылез вместе с пассажирами и двинулся через вокзальную площадь вслед за Сеземовым. Шел тот быстро твердым и ровным шагом военного человека. Одной рукой придерживал лямку заплечного мешка, другой помахивал, равномерно и неутомимо. Лишь один раз остановился — возле фотовитрины. Костя, подойдя следом, тоже остановился, глянул мельком. Укоризненно смотрела на него девушка в солдатской папахе, с винтовкой в руке, стоявшая в длинном ряду парней, одетых тоже в солдатские шинели и папахи. Прочитал подпись — корявые буквы. Это был отряд, еще весной уехавший воевать против Колчака.

«Мы на Колчака уехали, а ты, здоровый парень, чем занимаешься? — Как бы говорили глаза девушки.

Пошел дальше, стараясь быть незамеченным, прячась за прохожих. Так миновали они Толкучий рынок, потом перешли площадь рядом с розыском и вышли на главную улицу города. И здесь Сеземов не задержал шаг ни на минуту. Все только помахивал рукой да подергивал резко ремешок мешка за плечом. Какая-то девушка налетела на него. Он улыбнулся ей, приподнял даже фуражку и снова оттопырил околышком свои непокорные уши. Дойдя до трактира «Орел», посмотрел на окна, стал неторопливо переходить улицу по направлению к гостинице «Царьград», оглядывая при этом внимательно пустую пролетку, приткнувшуюся к углу здания. Костя

решил, что этот санитар запасного полка обязательно пойдет сюда, в гостиницу. Он представил, как сейчас, тихо скрипнув, откроются тяжелые дубовые двери с медными ручками, с ярко поблескивающими стеклами. Потом запыленные сапоги зашаркают по мраморным ступеням. Он поднимется на второй этаж, постучит в дверь, выкрашенную белой краской. Дверь откроется и высокая женщина с напудренной шеей воскликнет: «А я думала, не разбойники ли это?».

Но Сеземов даже не посмотрел на гостиницу. Он вошел под темную арку крепостной стены, разделяющую одну часть города от другой, а на бульваре остановился в толпе, окружившей высокую деревянную эстраду. С эстрады уставилось в небо жерло граммофона. Летел четко произносящий слова голос над тополями, над крышами, над головами людей, идущих по аллее: «Наша революция»... «Мы должны»... «Все силы»...

И снова Сеземов зашагал, теперь к Волге.

Остались позади два купеческих дома, похожие один на другой — из белого известняка, с маленькими монастырскими окошками, с острой крышей, выложенной черепицей, с расписными воротами. Сняв фуражку перед крыльцом церкви, Сеземов вытер лицо ладонью и свернул во двор. Костя прибавил шаг. Влетел во двор и остановился в растерянности: прямо в грудь смотрело дуло револьвера и глаза Сеземова, сощуренные злобно.

— Ну-ка, повернись кругом, — негромко приказал он, оглядываясь на пустынный закоулок. — Ну, — уже закричал он нетерпеливо, и револьвер подскочил, как будто ударил кто по руке.

Костя повернулся и услышал быстрые шаги. Что-то упало в карман. Дуло револьвера больно ткнуло в левую лопатку.

— Я положил тебе в карман одну вещицу, — услышал голос Сеземова. — Подумаешь потом, где бы ей быть за твое свинячье любопытство. А сейчас живо убирайся на улицу... Ну!..

Костя все в такой же странной растерянности вышел за ворота. Оцепенело смотрел на широкую гладь реки, на лодки, на женщин-платомоек, на тот берег в дымке, на облака, низко плывущие над башнями церквей. Сунул руку в карман, нащупал что-то, вынул—и увидел на ладони поблескивающую ярко пулю.

17

В розыск он направился, не заходя домой. С мешком на плече, усталый, запыленный, расстроенный поднялся по лестнице. На верхней площадке остановился, прислушиваясь к голосам, слышным из-за двери, обитой войлоком. Кричал, похоже, Ваня Грахов:

— В воскресенье видел их обоих. На велосипедах с комсомольцами ехали. С флагами, с песнями, охапки цветов. Позавидовал даже...

Появилась в коридоре Шура Разузина. С заплаканным лицом пробежала мимо и, ойкнув, обернулась:

— Пахомов, ты слышал, что у нас тут вчера было?

Когда Костя, задержав шаг, покачал головой, вернулась к нему, переложив пачку серой бумаги из одной руки в другую.

— Горе-то у нас, Костя, какое, — сказала тихо и вымахнула из кармана сиреневой юбки платочек. — Вчера вот здесь, на лестнице, Шахова с Глебовым застрелил Артемьев. Сижу я в канцелярии у журналистки, как вдруг — «бах» и еще «бах». Выскочила на площадку, а этот и в меня целит из нагана. Такой бритый мужчина в гимнастерке, пиджаке, лоб узкий, сам тощий, узкоплечий. Опять «бах» — только жигнуло над ухом. Вон стену как ковырнуло, целый кусище выхватило. Я так и села. А те двое вниз по лестнице. Выбежал Иван Дмитриевич, Грахов с Канариным. Да уж поздно. Лежат на ступеньках Вася с Сергеем, встать не могут. И я себя не чую — в глазах темно, в ушах звон, даже затошнило. Чистый обморок...

Губы у нее задрожали, не выдержала, заревела в голос и запрыгала по ступенькам. Он привалился спиной к стене. Холодная и сырая, она легла ему на плечи плитой, придавила. Даже выронил мешок к ногам, глотнул судорожно прокуренного воздуха. Как же это так? Шахов и Глебов. Вспомнился первый день в угрозыске, белокурый Шахов, записывающий показания старика, у которого какой-то Зюга украл деньги, кудрявого Глебова, улыбающегося Семену Карповичу, по-приятельски... А то вот они оба сидят на летучке в кабинете Ярова возле этажерки, заваленной бумагами, газетами. Глебов крутит головой нетерпеливо, подымает руку, вскакивает, одергивая гимнастерку, напоминая этим самого Ярова. Стал

говорить насчет комсомольской ячейки при уголовной милиции. Это чтобы среди агентов розыска были свои комсомольцы. А Шахов сидел, скрестив руки на груди, позевывая, закрывая глаза то и дело, потому что ночь накануне продежурил на пристани.

Из-за двери опять донесся голос, теперь звонко спрашивал кого-то Карасев.

— Никак только не пойму — почему Коля стрелял здесь, в милиции, а не на улице. Там же легче было удрать?

Кто-то незнакомым голосом ответил:

— Потому что под дулом шли они сюда, наверное. Не удалось никак выхватить наган. А здесь ребята сплоховали, поубирали, видно, свои револьверы в карманы. Вот те и воспользовались.

И все же не верил Костя. Казалось, что снится ему, возле двери кабинета Ярова подумал с долей облегчения:

«Сейчас все пояснит начальник. Мол, выдумка это в отношении Шахова с Глебовым».

Яров стоял у окна, опустив плечи, сгорбившись по-стариковски. Гимнастерка на спине вздулась пузырем из-под ремня. Ветер трепал жидкие льняные волосы на лбу. Он выслушал сбивчивый рассказ Кости обо всем, что случилось с ним, и, ни слова не говоря, толкнул окно рукой. Поплыли из-за высоких белых стен, отделяющих Мытный двор от улицы, стройные и грустные слова революционного гимна:

«Вы жертвою пали в борьбе роковой»...

Яров слушал, покашливая глухо. Изредка переминался с ноги на ногу и слабо поскрипывал под ним паркетный пол кабинета. Не двинулся, когда кончилось пение и стал ясно слышен привычный шум городского квартала: скрип колес, шарканье ног, свистки, крики мальчишек.

— Значит, уволить тебя, — заговорил, не оглядываясь. — Не годишься в агенты. Ну-ну... Все так говорят. И я вот так же говорил в Губкоме партии однажды весной. Знаешь, что мне ответили там. В революцию все надо уметь...

Голос его был не злым, а скорее печальным. Глядел вниз, как будто ждал увидеть кого-то на каменных раст-

рескавшихся плитах тротуара. Звякнул телефон. Разговаривал больше тот, на другом конце провода. Яров лишь кивал головой и один раз устало ответил:

— Хорошо, Петр Петрович, сейчас иду. Один мой сотрудник как раз оттуда. Вместе приедем.

Он повесил трубку на рычажок и остро глянул на Костю. Кажется, только сейчас пришел к окончательному решению:

— Никаких рапортов об увольнении, Пахомов. По молодости, по неопытности эти ошибки. И твои и тех вон ребят. Это Союз молодежи собрался на съезд. А пели в память о своих товарищах. Их в святовских лесах банда Озимова положила. Отправились воевать с зелеными как на масленицу: на подводах, да с песнями. Ну те их из кустов в упор. Как и Артемьев Шахова с Глебовым. Слышал уже, наверное? Вот так-то, Пахомов. Мы Артемьева ищем повсюду — в притонах, в чайных, на станциях, в деревнях. А он вчера, в полдень, этаким губернатором шагает возле стен Кремля. Мало один — так и двоюродного брата в попутчики забрал. Посмеяться, может, решил над нашим уголовным бюро — дескать, не ищете, так я сам к вам, на вы, так сказать, иду... Арестовали их обоих, а обыскали почему-то одного Василия, двоюродного брата. Николаю на слово поверили. А у него браунинг в сапоге хранился. Вот на лестнице и применил он его... Да, тяжелый удар нанесла нам контрреволюция и уголовщина...

Он натянул на чуб фуражку, смахнул со стола в ящик бумаги небрежно и как-то машинально. Покачиваясь, будто бы больной, подошел к Косте.

— Только вот что, Пахомов. Как же это ты в политику не вмешиваешься? Ты что — анархист или с луны свалился, не житель земли?

Теперь это был другой Яков, какого он не видел до сегодняшнего дня, постаревший сразу, с резкими морщинами в углах рта, с прищуренными злобно глазами. Уж лучше бы он его ударил, чем так смотреть. Лучше выгнал бы из кабинета пинком ноги, чем видеть в Пахомове самого неприятного на свете человека. Так подумал про себя Костя и съежился, опустив голову вниз.

— Знаю я кто твой теоретик, Пахомов, — глухо говорил Яров. — Знаю, кто втащил тебя в эту нейтральную платформу. Только, Пахомов, случается, что нейтраль-

ная платформа и платформа предательства — одно и то же. Ты про Мартына Туркина слышал?

— Слышал, — ответил тихо Костя, все еще не поднимая головы, боясь встретиться с глазами начальника. — Семен Карпович рассказывал. Он военного комиссара выдал...

Будто не слышал слов Кости начальник угрозыска. Продолжал все так же сердито:

—Из приказчиков он, этот Мартын Туркин. Их немало набежало в розыск перед самым мятежом. Приказчики, мясники, лавочники, официанты. Рассказывали мне, что даже уголовника приняли, имевшего несколько судимостей за грабежи. Через четыре дня кто-то из агентов разглядел своего нового товарища по работе, тут уж вот в шею и вытолкали громилу. А почему такое могло быть. Потому что начальник милиции дожидался белых, потому что некоторые из опытных агентов сыскного отделения похрапывали на этой вот нейтральной платформе. Тот же Мартын Туркин открыто грозил: «вот погодите — придут бело-чехи, они красным покажут». Слышал это и Семен Карпович Шаманов, твой учитель, а пропустил мимо ушей, не арестовал. Держался своего тезиса: «чины уголовного розыска в политику не вмешиваются». Интересно, хоть маленько екнуло у него в душе, когда узнал на следственной комиссии в Чека, что расстреляли военного комиссара по предательству Туркина. Не знаю... Мы шли под шрапнелью на приступ города, а Шаманов в это же самое время поливал стены своего дома водой. Это чтобы не загорелся он от огня горящих соседних домов. Служака он усердный и любит свое дело — тут ничего не скажешь. Еще стреляли, еще трупы с улиц не убрали, а он вышел на работу. Успел первого после мятежа воришку сграбастать — сдирал тот материю в швейной мастерской. Сграбастал и привел в розыск. Сидит, покуривает и ждет законных властей с первым своим заработком. Так он и при царе сидел, и при Керенском, и при Советах, и при белых. Так он и у Махно работал бы, и у японцев, и у англичан, приди они в наш город. Нейтральная платформа, а на деле предательство, я считаю.

Ты что же, по его пути пошел? Красные — им служу, белые —им буду служить...

— Не буду я белым служить.

Костя даже не узнал своего голоса, осип, захрипел, будто застудил его сильным морозом. — Хотите верьте, хотите нет. Получилось это сам не знаю как. Пришли они ночью, стали бить...

— Испугался?

— Испугался, —не сразу уныло признался Костя, — вырвалось у меня это.

— А те думаешь не испугались, те которых бандиты положили посреди села. Могли бы сейчас тоже чай пить у самовара, скажи эти же слова... Не стали кланяться, не стали умолять о прощении или о том, что они на нейтральной платформе.

— Я, если понадобится, Иван Дмитриевич...

— Понадобится, — прервал его уже помягчавшим голосом Яров. — Революционное мужество за один день не наживешь. Не пиджак, который можно приобрести завтра на Толкучем рынке. Прежде всего осознать надо во имя чего ты живешь сам и во имя кого, и во имя чего. А эти вопросы разрешаются испытанием...

Глаза его жгли и Костя опять опустил голову. Видел теперь пальцы начальника. Они то сжимались быстро в кулак, то разжимались. Казалось, с трудом сдерживал себя, чтобы не ударить своего подчиненного. Только вспомнил Яров сейчас мировую войну, Мазурские болота. Вольноопределяющийся Иван Яров лежит в траншее, сжимая в кулаках липкую пахучую тиной землю. Так как вот сейчас сжимал свои пальцы. С тягучим шелестящим свистом прилетали тяжелые германские снаряды. Валились на спину потоки комьев, пыли, щепа разбитых бревен, досок. Нос забивало гарью, надсадный кашель раздирал легкие. Бесконечно били из серого предрассветного тумана пулемёты, бороздили землю вспышки прожекторов. Потом из конца в конец траншей понеслась команда идти в наступление. Рядом подымались солдаты, с руганью вымахивали из траншей, а он как прилип к этой земле, тело стало свинцовое... Визгливый голос фельдфебеля заставил вскочить, броситься через бруствер. Бежал вслед за топочущими солдатами, видел как то тут, то там взлетают в кислой пороховой дым винтовки, руки, как никнут, горбятся серые шинели. Ждал — вот сейчас боль разрежет, располосует в одно мгновение Ивана Ярова. Хлынет в глаза темнота и не почувствует он больше, как сыра и жестка эта чужая далекая

земля. Но добежал до проволочных заграждений, ввалился в траншею, уткнулся лицом в стену, обитую жердями, пропахшую табаком, немецким одеколоном, иодом и заплакал. От счастья, что даже не царапнуло его. Тогда ему было двадцать три года и он пришел в армию по заданию партии, чтобы вести среди солдат большевистскую агитацию. Этому парню всего семнадцать и знал он до сих пор лишь крестьянское поле, да хлев. Он еще сырой, как воск. Но из него можно тоже слепить твердый характер, крепкие нервы, которые помогут ему не дрогнуть даже перед военно-полевым судом, как не дрогнул он, Яров, в семнадцатом году под Двинском. Лишь взбунтовавшие солдаты отвели ружья конвойной команды от его груди, успели на какое-то мгновение. И этот не дрогнет, придет время. Яров верил в это. Верил, разглядывая его усталое лицо, стиснутые зубы, морщину на переносице. Раннюю морщину. Знать уже переживал. Может, по отцу?

— Помыться тебе надо бы, Пахомов. Прокис от пота. Да пообедать. Сейчас пойдем в Губком партии, а оттуда домой, а к вечеру поедешь в Татарскую слободу. У родни Василия Артемьева надо побывать. Со мной поедешь. Хватит тебе старорежимной учебы.

В длинном, кажущемся бесконечном коридоре губернского комитета партии как на улице: старик с котомкой на плече, приехавший в город, как видно, издалека, пропыленный, зажаренный солнцем, матрос с карабином, женщина и вокруг нее мальчишки, девчонки — может, из колонии, или же ученики, какие-то парни с деревянными чемоданами, пилами и топорами.

Голоса и стук каблуков звучно отдавался сводчатыми потолками, выкрашенными в зеленый цвет стенами, высокими в расписных узорах дверями с медными ручками. Представил Костя что там, за этими дверями сидят важные и строгие люди, которые встретят его сейчас строгими словами, неприветливо. Но человек, к которому они пришли, был самый обыкновенный, разве что очень культурный с виду: в белой рубашке, пенсне в золотой оправе. Оглядев Костю, он спросил:

— Так это, Иван Дмитриевич, и есть тот, что из Фандеково? Помолчал почему-то и тут же заговорил:

— Что там в деревне? Настроение какое у народа?

Удивился Костя — вроде бы и не столь важное дело

спросил. Но робко рассказал, что посадил он нынче с матерью картошки, да овса дали власти по двадцать пять фунтов на душу. Вот с питанием тоже почти как в городе — голодает народ. Промывают барду паточную, да мешают кой с чем. Тем и питаются чаще всего.

— Ну, наладится, — твердо сказал собеседник. — А с чего это так легко живется в Фандеково бандитам? В сельсовете кто?

Помялся Костя — какое дело ему до сельсовета:

— Незнакомый откуда-то человек. Живет на станции, а в селе наездами бывает. Ну, да народу все равно. Говорят: нам что ни поп, то батька...

— Что ни поп, то батька, — сердито повторил партийный товарищ. — Зато вот троих положили в Фандекове, да каких людей хороших. Агитаторы собирали народ, чтобы о восьмом съезде партии объяснить? О том, какие задачи поставил Ленин перед рабочим классом и крестьянством? О том, что теперь главное в нашем деле это опора на бедноту в союзе с середняком?

Костя покачал головой:

— Нет, не собирали. Мать рассказала бы. Насчет отрезки земли у помещика Баунина было такое дело. Двое даже подрались. А насчет съезда не было.

Партийный товарищ вздохнул, посмотрел на Ярова. Тот двинулся на стуле с виноватым видом, как будто он был ответственный за проведение собраний в селе Фандеково:

— Запущена агитационная работа, Петр Павлович, сразу видно. А «зеленые» да кулаки этим пользуются.

— Пользуются, вот именно, Иван Дмитриевич. И эту ошибку нам надо исправить. Расскажи-ка подробно, Пахомов, как все у тебя получилось, про все, что видел...

Разговор был долгий и с виду мирный, спокойный, доброжелательный, но когда Яров вышел в коридор и стал судорожно расстегивать пуговицы гимнастерки, пальцы его вздрагивали. Гибель двух агентов в самом угрозыске, можно сказать на его глазах, расстрелянные и зарубленные в уездах, упущенный Сеземов бестолковым еще сотрудником, пуля, которая могла сидеть в затылке у этого сотрудника — как тут не расстроишься. Да еще вечером надо доложить экстренному заседанию в Губкоме партии по поводу бандитских вспышек в городе и уезде.

— Позорче, позорче, Пахомов, — только и сказал он и хрустнул пальцами, с силой сжимая их в кулаки.

Они спустились по лестнице вниз, вышли на площадь. Плавились кресты на церкви, стекла в окнах этих длинных трехэтажных зданий, выстроенных на площади полукругом, штыки красноармейцев, небольшой кучкой и вразнобой шагавших к саду. Оттуда, из-за кустов, из-за стволов, поломанных, обожженных огнем пожаров лип, донесся вдруг громкий и короткий плач. Яров вздохнул, снял фуражку.

— Слышал? — сказал угрюмо. — Год прошел уже, а около памятника погибшим в мятеж все люди. И днем, да и вечером. Родные, просто посторонние.

Костя бывал в этом садике не один раз. Вчера даже проходил мимо по дороге из флотских казарм. Около сколоченного плотниками из бревен восьмиугольного сруба с пятиконечной звездой на длинном и тоже деревянном шпиле сидели несколько женщин с заплаканными лицами. С ними дети — тоже молчаливые нахохлившиеся. А на тропках сада — люди любопытные — и в их глазах сочувствие и тоже жалость и к тем, кто был захоронен под памятником, и к тем, кто оплакивал сейчас этих захороненных.

— Побольше бы бдительности коммунистам в прошлом году, — продолжал Яров, не отрывая глаз от видневшейся сквозь зелень кустов пятиконечной звезды. — Может не столько бы погибло, и город бы сохранили от пожара, от этих трехдюймовых снарядов.

— Дяденька, — послышался сзади тонкий слабый голосок. — Дайте кусочек хлебца...

Возле них стоял лет шести-семи мальчонка, смотрел с надеждой и напряженно, тянул тощую перевязанную куском полотна руку:

— Дайте, дяденька, — попросил снова. — Я вам за это «Интернационал» спою.

Яров погладил его по голове и резко повернулся.

— Идем, Пахомов.

Шел через площадь чуть ли не бегом. За углом, возле высокой стены, ограждающей улицу от Мытного двора, остановился. И губы дрожали — улыбнулся криво. Можно было подумать — спасся от какой-то огромной опасности.

— Ничего, — проговорил твердым голосом. — Ничего, — повторил опять, так же твердо и сурово. — Придет то время, Пахомов, когда этот мальчонка даст оценку всему, что было с ним и не пожалеет. Не пожалеет, что пришлось ему голодать в девятнадцатом году, не пожалеет, что руку тянул за милостыней... Ради светлого будущего так тяжело ему сейчас. Ради него...

18

Прошло несколько дней и снова в Фандекове грянули выстрелы. В самом дальнем углу погоста, у ограды, поникшей, ржавой, заросшей хмелем и калиной легли от красноармейских пуль трое: Побегалов, Камышов и староста Кривов.

Верен остался Камышов самому себе даже в последнем своем пути — ругался на все село, грозил, рвал рубаху на себе. Игнат Ильич был тих и спокоен, только и есть, что шептал молитвы, да торопливо крестился, чуть не до того, как пуля согнула его пополам.

Побегалов — тот будто уезжал в город за товаром для своей лавки. Пока вели, давал советы завывающим в голос домашним. Мол, это сделать, да то, да третье. Даже что-то наказал насчет ремонта печи в баньке. А напоследок передал поклон сыну Митьке, который ушел с бандой Озимова. Попросил во всеуслышание, чтобы он при случае попомнил отца, «убиенного безвинно».

Не пришлось Митьке попомнить отца. Чоновские отряды во главе с председателем Чека Агафоновым настигли, окружили и разбили банду в «озерном» крае. Пулеметы сложили больше половины «зеленых», среди них и Епифана Сажина, Митьку, братьев Клячевых, дочь старосты Кривова Верку, увязавшуюся за младшим Клячевым.

Озимов скрылся с несколькими подручными. Появлялся он в разных уездах губернии и вновь надолго хоронился неведомо куда, а скорее всего на хутора к сытым «озерным» мужикам. А спустя пять лет и вовсе исчез. Остались лишь слухи о его судьбе. Одни утверждали, будто бросил он свое бандитское ремесло и с фальшивыми документами, как обыкновенный сапожник, тачал башмаки, да туфли. Другие рассказывали, будто кто-то

видел его во время Великой Отечественной войны в Румынии, чуть ли не владельцем лавки. Но большинство верило, что Озимов утонул. Случилось это, мол когда за ним по пятам гнался уголовный розыск глухой осенью. Посадил средь ночи жену и сына в сани, погнал лошадь прямиком через реку, по неокрепшему еще льду. И наскочил впотьмах на промоину. Будто без звука все ушли под воду. Заставляли верить в этот рассказ тоже бесследно исчезнувшие жена и сынишка бандита. А что не нашли трупов в реке — так ил засосал. Или всплыли когда-то и где-то — так поди разбери кто это всплыл, если времени прошел не один даже год и столько утекло воды.

Но все это было потом, многие годы спустя. А в те июльские дни события шли своим чередом: исчезла неизвестно куда из гостиницы «Царьград» Инна Ильинична. Запасной полк отправился на деникинский фронт без командира санитарного отряда Сеземова, зачисленного в дезертиры. В угрозыске забелел на стене еще один приказ, в котором одним из параграфов Яров утверждал сотрудником второго разряда Пахомова Константина Пантелеевича.

19

Теперь он был настоящий агент уголовного розыска. В одном кармане лежало картонное удостоверение, в другом тяжелый черный и плоский кольт. Вручая то и другое, инспектор Петр Михайлович Струнин, пообещал в скором времени заменить кольт на револьвер. По его мнению револьвер и удобнее, и надежнее. Но Косте нравился кольт своим внушительным видом, девятью зарядами.

Сейчас он шел по городу с «личным сыском». Он мог идти куда угодно. Так и инспектор наказал:

«Ты можешь идти куда захочешь: на рынки, на остановки трамвая, на пристань, даже в баню. Приглядывай, могут подозрительные встретиться в толпе. Если надо, предъявишь удостоверение. Оружие применяй в последнюю очередь, когда побежит арестованный или нападут злоумышленники».

Не спеша шел он мимо приземистых двухэтажных каменных домов, соединенных друг с другом железными, в

золотушных струпьях, воротами, деревянных заборов, на которых лишаями темнели обрывки от содранных афиш или воззваний, старинных арок — под ними даже в солнечный день всегда темно, холодно. Смотреть со стороны — красивая, наверное, походка у Кости Пахомова. Ровный четкий шаг, пощелкивают сапоги, начищенные утром ветошкой, снятой с поленницы у Александры Ивановны. Голова не качнется, лишь глаза туда и сюда жучками-плавунцами. Выхватывают из людской толчеи седую бороду старика, сонные глаза размореной в бане девицы, вздрагивающий штык винтовки за спиной чоновца. Рука правая у Кости в кармане, поглаживает нежно рукоять кольта. Совсем этим похож он на парня в желтой куртке. Если бы шла рядом еще Настя! Он бы ей сказал, эдак спокойно: «А не пойти ли нам, Настя, погулять к реке?».

Метнулся из подворотни безмолвной дворняжкой газетный лист и на нем успел прочесть имена, отчества, фамилии, осужденных скорее всего губревтрибуналом за бандитизм, за мародерство, за укрытие контры, за злостную спекуляцию. Откинул лист и вот он уже под огромным башмаком долговязого парня. За собором сухо треснул выстрел. Взмыли над куполами галки. Маятником шаркает по стене заколоченной булочной разбитая вывеска. Полыхнуло трюмо парикмахерской. Ее владелец, пожалуй, последний в городе частный владелец парикмахерских, старик, изящный и тонкий, что юноша, в очках, атласном халате сидел у окна, уныло, рассматривая мелькающие перед глазами лапти и ботинки, сапоги и краги, босые ноги и штиблеты. Весь этот поток людей вливался за углом в бурлящий и гомонящий Толкучий рынок. Не вынимая руки из кармана он вломился в толпу: Народ тот же: черные, землистые, бронзовые лица, зычные глотки, цепкие руки. Сновали мелкие торговцы в разнос с лотками. На лотках пакетики с сахарином, пачки с махоркой, катушки ниток, какое-то тряпье, ириски дорогие, что и соль.

...В Фандекове, на реке, за домом мельника Семенова есть омут с водоворотами. Кинешь щепку и смотришь, как крутят ее черные маслянистые воронки. То утопят, то выбросят ее невидимые пальцы, протянутые со дна. Наконец отпустят и, вроде как радостная, понесется она по стремнине в тени кустов тальника, камыша, под гибкими

и скрипучими лавами. Так и Толкучий рынок занес его сначала в будочку продкомовцев, к сивоусому Ивану Петровичу, покидал потом из конца в конец и, намучив как следует, вытолкнул на улицу. На манер Семена Карповича снял фуражку, вытер потный лоб, а отдышаться не успел — увидел набегающий из-за угла трамвай. Погнался за ним, вскочил на подножку прицепного вагона. Был вагон без стены, накрыт горбатой железной крышей, продырявленной повсюду пулями. Пассажиры стояли плотной стеной, держась руками за металлические стойки, мотались из стороны в сторону, поругивались беззлобно. Спросил бы Яров или Семен Карпович: «Это куда и с какой политикой ты едешь, Пахомов?» Ответил бы: «Мало ли кто в такой толкотне заберется в чужой карман». Или вон как поглядывает рябой парень на женщину, прижавшую кошелку к груди. Значит, дорожит здорово кошелкой, раз так тискает ее. Ему это понятно, а опытному вору и подавно. А уж если по секрету, так больше интересовали сейчас Костю вот эти три венецианские окна небольшого особняка в тесном переулочке. С платформы вагона за занавесками всегда можно увидеть головы, то мужские, то женские, портреты на стенах, плакаты. Только и на этот раз не заметил он Настю. Наверное, сидела она где-то на втором этаже. Проехал трамвай переулочек, остановился на площади, как из ковша воду, выплеснув пассажиров. В разные стороны разошлись все трое: рябой, едва не вприпрыжку, к садику у театра, женщина, все так же прижимая к груди кошелку в дверь часовой мастерской, а он к электротеатру «Рекорд». У запыленного окна снял снова фуражку, причесался гребнем. Увидел свое мутное отражение: высокий парень с почерневшим лицом, в расстегнутой косоворотке, пиджаке. Со стороны смотреть — готовится агент розыска пойти в электротеатр вслед за этими мальчишками и девчушками. Имеет причем полное право Пахомов пойти в кино за здорово живешь. Вот как писал в своем приказе на прошлой неделе Яров:

«Дежурные имеют право присутствовать в кинотеатре бесплатно, остальные агенты, наравне с гражданами города, должны покупать билеты». Очень строгий приказ, удививший, между прочим, агентов розыска. Только нет что-то желания у Пахомова сидеть в кресле и хохотать до коликов в животе на ужимки Макса Линдера. Он

идет прочь от электротеатра, он входит снова в этот узенький переулок, открывает дверь облупившегося с фасада особняка. Идет ровным и четким шагом по кафельному полу и вдыхает терпкий аромат лекарств, карболки, уступает дорогу пожилым сестрам милосердия в белых наколках, с красными крестами на пышных, как у монахинь, колпаках. Его оглядывают подозрительно, но не спрашивают. И он их ни о чем не спрашивает, а подымается спокойно по лестнице на второй этаж. Как будто он какой фельдшер из уезда, приехал, чтобы выписать эти вот пахучие лекарства. А на втором этаже первая дверь направо приоткрыта. И в узенькую щель увидел Настю, сидевшую боком за столом. Сидела и слушала как о чем-то рассказывает или же убеждает, или же ругает ее тоже рыжеволосая девушка. Прошел мимо двери и едва не носом уткнулся в ангелочков, вылепленных на стене. Пузатенькие, пухлощекие — они подымались стайками над облаками, подмигивая ему гипсовыми глазками, как бы говорили: «Не робей, парень, иди смело». И как подтолкнули его к полуоткрытой двери. Раскрыл ее, вошел, проговорил бодро:

— Здравствуйте, Настя. Иду по своим делам, гляжу, знакомая сидит, дай, думаю, загляну...

А руки как не свои, а по щекам точно кипяток льется, обжигает их. Поди-ка, красный, если опять же смотреть со стороны. Эх, и зачем он только сунулся сюда! Девушка, стоявшая у стола, удивленно уставилась на Костю, потом так же на Настю. А та поднялась медленно и проговорила с растерянной улыбкой:

— Проходите, Константин, так ведь вас зовут, слышала я. Проходите и садитесь вот на этот стул...

Тут ее подруга ахнула и кинулась к дверям, успев сообщить, что «задаст ей Петр Вонифатьевич».

Костя присел на кончик стула, стянул с головы фуражку и мельком оглядел комнату. На стене зонтик, может, и Насти, брезентовый плащ, у окон три стола. На одном счеты, на другом лампа с синим абажуром, в самом углу навалом плакаты. У Насти на столе большая, с пулемет, пишущая машинка, ворох бумаг, стакан с водой.

— Работы сегодня много, — заметив его взгляд каким-то виноватым голосом, проговорила Настя. — Отчет надо отпечатать к концу дня. Сколько в губернии забо-

лело инфлуэнцией, сколько брюшным тифом, сколько сыпным. От этих циферок даже в глазах мошкара. Вот ради отдыха и заговорилась с подружкой. Она тоже машинистка, только у инспектора, на первом этаже.

Со времени их последней встречи во дворе «дома сыщиков» она изменилась. Похудела, под глазами вмятинами черные круги, губы посинели, распухли — как будто кто ударил ее вчера кулаком по лицу. «Целуется, — подумал он. — Целуется и на берегу реки сидит, наверное, до утра».

— А я вас видел недавно возле реки вечером поздно, — помимо воли, вырвалось у него. — Шли вы с каким-то парнем в желтой куртке.

Она покачнулась слегка, словно кто ее толкнул в плечо рукой, быстро и испуганно проговорила:

— Нет-нет... Что вы... Вы просто спутали меня с кем-то... Что вы, — повторила снова, как в забытьи, и стала перебирать ворох бумаги, отыскивая в них что-то. А у него в душе сильнее разливалось чувство тоски и ревности. Так вот в Фандекове разливается по весне река. День за днем все грознее, все шумнее она — так что грозный шум становится слышен сквозь двойные рамы их дальней от берега избы.

— Вы это, Настя шли, — повторил упрямо и с огорчением. — А парень этот похож на одного, которого уголовная милиция ищет. Сверху-то хорошо было видно, луна чай, светила..

Немало советов и уроков дали ему и Семен Карпович, и Яров, и инспектор Струнин. Только как прятать от человека свою ревность — не научили. Позже он поймет, что совершил ошибку. Позже он с горечью вынесет себе приговор, что не был он в тот день настоящим агентом розыска, хотя и лежало в одном кармане картонное удостверение, а в другом тяжелый черный и плоский кольт. Не заставили его задуматься ни ее руки, которые никак не могли вставить в машинку листок бумаги, ни ее потемневшие щеки, ни ее хриплый голос:

— Простите, — попросила холодно, — но у меня срочная работа. Отчет требуют в губисполкоме...

— Пожалуйста, — даже с какой-то бесшабашной веселостью ответил он и, нахлобучив фуражку, шагнул в дверь, плотно прикрыл ее за собой. На лестнице подумал

тоскливо: «Выгнала. Она тебя, Костя, попросту выгнала в шею, как все равно нищего».

Стучали каблуки по кафельному полу, отдаваясь в ушах звонко. На улицу вышел оглохший. Откуда-то из-под земли приплывали стук колес трамваев, топот, цокот копыт, злая брань ломовых извозчиков, пенье женщин, с флагами идущих в колонне на площадь на митинг. Он натыкался на прохожих, не отзывался на их ругань, упреки. И все видел перед собой того в желтой куртке. Значит, крепко любила она его, раз так заволновалась, раз не захотела посидеть с ним хотя бы одну минуту, раз выставила за дверь... Но ведь она же сама приглашала его погулять в городе. И смотрела там, во дворе «дома сыщиков», нежно ласково. Мария никогда не смотрела так...

На перекрестке он вскинул голову. Увидел мелькнувшую в окне рыжую прическу: то ли это была Настя, то ли ее подруга — издали не разглядел.

20

Другим стал для Кости Семен Карпович. Каким — он и сам не сказал бы, спроси если кто. Вроде все тот же оставался Шаманов, а вот не тянуло к нему, как прежде. И голос слышался чужим, незнакомым, и походка вразвалку со скособоченной головой раздражала, и усмешка его разонравилась — казалось смеется он над всем миром, над каждым человеком с кем сходится нос к носу. Оттого-то, если приходилось вместе идти домой, помалкивал или отвечал скупо, нехотя, с трудом подбирая слова. Приходилось иногда с ним бежать на место преступления. И здесь сам не заводил разговора, на шутки лишь улыбался вежливо, на сердитые упреки виновато кивал головой. В конце-концов Семен Карпович заметил настроение своего бывшего ученика. И спросил по дороге домой августовским безоблачным вечером:

— Да ты что, Константин? Или обидел я тебя чем?

Слова эти, сказанные с задушевной грустью, тронули Костю, смягчили отчуждение. Все же в этом городе — жарком и голодном — среди тысяч незнакомых людей, безразличных к его судьбе, к его жизни, он был самым близким после Александры Ивановны. Вот почему не сдержал дружеской улыбки, ответил:

— Да просто настроение такое, Семен Карпович как приехал из села. Насмотрелся. Да и тут еще Шахов с Глебовым...

— Шахов с Глебовым?

Семен Карпович как-то удивленно повторил сказанное Костей и в нос себе ворчливо добавил:

— Чего тут особенного? Революция нуждается в мясе. Это еще что, — со вздохом продолжал он. — Посмотрел бы ты, что у нас тут творилось в первые дни после революции. Магазины крушат в одной стороне, в другой ларьки, в третьей толпа солдат с винтовками, в четвертой вино из подвала винного на поток отдано. Один солдат даже захлебнулся. Насытился, поди-ка на всю загробную жизнь... Он хохотнул коротко, привычно знакомо покрутил головой на фермы моста, через который шли, постукивая каблуками по настилу.

— Красная гвардия тогда была вместо милиции. На конях, а то и просто рабочие с винтовками. Ворам они спуску не давали. Поймают коль в толпе, быстро приговор, так у ног толпы и укокошат. Стрельбы было много. Бывало, что тебе германский фронт. И бомбы ухают, и пулемет стрекочет. Вот тогда наших двух тоже агентов бомбой враз положила солдатня в притоне у этой самой госпожи Добрецкой. Помнишь, в «Царьграде» такая с носом вороньим сидела за столом? Ну вот... Пришли они с обыском, а солдаты пьяны. Послали их, агентов, в кухню — мол, там есть кто-то подозрительный. Да обоим вслед бомбу и кинули. Так изрешетило, что живого места не отыскать было на ребятах. Молодые, бывшие фронтовики. А госпожа эта, Добрецкая, вот после того и смылась.

— Может среди солдат и здесь Артемьев был? — сказал Костя. — Ходит же он в солдатской форме?

— Может быть, — охотно согласился Семен Карпович и этими словами обидел почему-то Костю. Сердито спросил:

— Ну вот, а вы говорили однажды Ивану Дмитриевичу, что Артемьев не убивает. А он вон как может...

Семен Карпович пожал плечами. Как будто недоумевал, услышав слова Кости. Тут же заулыбался, похлопал его по плечу:

— Молодчина! Запоминаешь разговоры. Это уже хорошо, Константин. Втягиваешься... Ну, а то про Артемье-

ва — так видишь ли, — их сейчас горстями ставят к стенке. Вот они и отбиваются. Как все в природе. Поймай в кулак муху — и послушай, как она жужжит, точится во все стороны, сучит лапками, крылышками, воюет даже. Так вот и воры. Раньше варнак семью вырежет, а ему восемь лет каторги. Обреют, кандалы на ноги и от этапа к этапу. И коль в силе варнак, да в почете у шпаны, так еще и в «жиганы» иль в майданщики выбьется. Все равно как земское начальство. Вот он и не обнажал оружия против сыска, руки кверху. Теперь что пуля, что ревтрибунал бывает одно и то же. Оттого и Коля...

Он не договорил —может осудил себя за то, что разговорился. Замолчал, первым стал спускаться по круче на знакомую тропу, возле берега реки. А Костю любопытство вдруг разобрало:

— А с чего бы это госпожа Добрецкая снова в городе появилась, Семен Карпович? Чего тут делать, коль добро отобрали...

Тот пожал плечами — сопнул носом.

— Кто ее знает. Может закопано где золотишко. Добра у нее много было — все восхищенно продолжал он.— Одна люстра в гостиной, что тебе в императорском, наверное, дворце. Серебром окручена, да с золотыми вензелями. Как зажжет бывало — с улицы глянешь — батюшки, мои — солнце встало средь ночи. Чека конфисковала люстру, и куда подевала, не ведаю.

— Не революция, так буржуи свое добро не отдали бы народу — солидно сказал Костя. Семен Карпович засмеялся:

— Уж это точно, Константин. Только ты думаешь вечно они были такие богатые ?

И сам ответил:

— Не-е-ет. С малого начинали и они, эти наши буржуи. Госпожа Добрецкая самой захудалой мещаночкой была когда-то. А то еще вот Ковалев Иван. Он гостиницу «Англия» держал у вокзала. Двухэтажная, из бревен, черепицей крытая. Биллиарды в подвале, на втором этаже номера, а на первом — зал с люстрами. Не хуже чем у госпожи Добрецкой. Эстрада, а на эстраде певица. Истеричка такая была Аскольдская Матильда. За фужер шампанского к кому угодно на колени сядет бывало. Всегда в платке, потому что от тифу повыпали волосы на голове, пальцы в кольцах — сам Иван ее награж-

дал, — за пение или что еще не знаю, не пришлось вести дознание. Старик Иван, а она молодая, ну и егозила перед ним... Так к чему я это. К тому что богач был Иван, а начинал с подмастерьев. И где первый денежный кирпич взял для кладки своего богатства — тоже никому неведомо. Может хлопнул кого из кольта, или удавил. А жил, как король. Вот те и буржуй.

Теперь Ивана Евграфовича возьми. Еще бы годик и открыл бы он свой фирменный ресторан. Хвастался мне перед февралем. Мол, скоро и он уважаемым станет человеком, вроде «отца города». Накопил деньжат, видно, немало. Не брезговал он ничем. Для него, коль деньги имеет посетитель, — хоть в рубище, хоть он бандит, хоть проститутка — он около тебя, «барыню» спляшет и мазурку станцует. Лебезил, из кожи лез, что змея из своей старой шкуры. Зато и уважали его, сыпали на «чай», не считая, можно сказать. Тот же Коля, бывало, если появлялся, в «Царьграде», то к нему за стол садился. В простеньком всегда пиджачке, простенькой рубашке. Всегда с подручными. Сидит, молчит, зорко по сторонам поглядывает. Никогда не пьянел. Меня коль видел, подымался и кланялся вежливо. Ну я, коль зря, без «дела» коль, не трогал его...

— А вы же говорили Ивану Дмитриевичу, что только один раз видели его, — вырвалось у Кости. — В шестнадцатом году, когда он ювелирный магазин взял. Еще с дядей Тихоном Федоровым...

И опять Семен Карпович хохотнул коротко, обнял Костю за плечи — едва не мазнул утиным носиком по плечу:

— Ишь ты, а память у тебя, Константин, все же что надо. Настоящая для сыска память. А что говорил...

Тут он насупился, скривил губы:

— Так не зачем было вести разговор. Пустой он был бы. Ну, сидел в ресторанах Коля после налетов. Пил шампанское, музыку любил, резался в штосс в отдельных номерах. Вот тогда-то может немало перепало Ивану Евграфовичу... Так он и копил капитал, обслуживая тузов: то карточников, то налетчиков, то спекулянтов. И весь его труд напрасный теперь...

— Но ведь это нечестный труд, — воскликнул огорченно Костя, — Семен Карпович, ведь это тоже воровство. Один украл, а другой у него украл...

Шаманов совсем поскучнел, помрачнел. Отнял руку с плеча Кости, как обжег ее. Хмуро сказал:

— Думаешь нечестный?.. Ну-ну... Живи честным трудом вроде меня. Заимеешь тоже иконы, да катар кишок...

Хотел еще что-то сказать, да махнул рукой, побрел в ворота «дома сыщиков». Доносился из двора пронзительный крик Ольги, жены Силантия.

— Я тебе покажу Феклу Ивановну. Я тебе как-нибудь переломаю ноги костлявые.

Что-то кричала в ответ сестра Семена Карповича. Наверное, опять плеснула помои к каретнику Силантия. Послышался теперь негромкий басок Семена Карповича — уговаривал Варвару и Ольгу.

Костя остался на улице. Почему-то неприятный осадок лег в душу от этого разговора, в чем-то он ему не понравился, огорчил. Казалось, что Семен Карпович не высказал ему всех своих дум до конца, чем-то он обижен, неспроста защищает он Ивана Ковалева и госпожу Добрецкую и Ивана Евграфовича...

Солнце опускалось за город, утягивая за собой светлые нити лучей. Изредка опахивало с реки свежестью. С мостков доносились шлепки белья, плеск воды, звон. По тропам проходили женщины, неся на коромыслах ведра, корзины. В далеком углу улицы запела хрипло гармонь. Через дорогу на глинистом пятачке рядом с колодцем несколько пареньков играли в городки. Летели тяжелые палки, гулко стукаясь о землю. Сбитый «поп» катился стремительно в траву. Выхваченный оттуда, снова застывал посреди квадрата. Парнишки были как на подбор, лет по пятнадцать: белоголовые, встрепанные и азартные. Заметив, что Костя смотрит с любопытством на игру, один из них, повыше ростом, длиннорукий, крикнул:

— Иди, эй... Если хочешь...

Недолго думая, Костя скинул пиджак, бросил его на чугунную тумбу. Игра захватила, заставила забыть, что он уже не босоногий мальчишка из Фандеково, а штатный сотрудник уголовного розыска. Швыряя палку, бежал за «попом», пыля сапогами, утирая пот рукавом рубахи. И чудилось, что он в Фандекове, что кругом знакомые избы, а под горкой река и дым костров из лесов вместо этих пыльных клубов, повисших над их головами. Вдруг как опомнился, оглядел окна домов — кой-где уви-

дел за стеклами глаза. Подумал: «Ишь, как маленький разыгрался». Вытер лоб рукавом и пошел к тумбе, чувствуя каким-то пристыженным себя.

И осознал еще с тоской в сердце, что в последний раз как бы явилось к нему детство. Явилось, чтобы уйти теперь, с сегодняшнего вечера, безвозвратно в прошлое, оставив на смену юность и эти полуголодные дни, заботы о тревожном завтрашнем дне.

21

Агенты искали следы Артемьева. Несколько раз Грахов с Канариным обошли прилегающие к станции улицы, облазали пустыри и овраги. Опросили всех, кого можно было опросить.

— Даже грудных ребят пробовали разговорить, — жаловался шутливо Ваня Грахов. — Только мычат. И взрослые тоже только машут руками. Дескать, надоели мы им. Может и слышали что, да помалкивают.

Ничего не знали и базарные барыги, которых забирали с табаком, с ландрином, с мукой. Все имели свои источники для спекуляции, не имеющие связи с интендантским складом. Тот же Кирилл Локотков на допросе говорил следователю горячо:

— Сами посудите, господин следователь, к чему мне союз с Колей. Чтобы влепили в грудь свинцового Станислава? Нет уж, лучше я подожду до хороших времен. Лучше под конвоем буду ретирадные ямы чистить, да скоблить...

Помалкивали взятые под стражу громилы. Нет, они ничего не слышали. Нет, они в жизнь не видели какой из себя Артемьев. Или отвечали, как ответил Семену Карповичу Огурец: «Мы люди маленькие»...

Яров даже объявление дал в газете. На последней странице в черном квадратике прочли жители губернии, что если они знают об Артемьеве, пусть сообщат немедленно в уголовную милицию по нижеследующему адресу...

Но однажды угрозыск пришел в движение. Поступила секретная информация о том, что в одной из деревень под городом появился Василий Артемьев. Сообщалось далее в информации, что принял его торговец шкурами

Нил Капризов, что натопил он баню, а воду из реки таскал сам гость. Половина боевого состава собралась тотчас же в дорогу. До железнодорожного лесного перегона доехали на дрезине, а дальше двинулись проселками, через деревни. В них было пустынно. Лишь старики, да старухи, да малые дети. На улицах валялись бороны и сохи, раздерганные телеги, тлели трупы лошадей. Потыкались в сожженные хлеба телеграфные столбы, провода паутиной вились под ногами. А то перерезали путь траншеи и окопы и в них банки из-под пороха, пустые патронные гильзы, отломанные штыки, разбитые в щепу приклады винтовок, ржавые бинты. Здесь недавно еще шли бои с Озимовым — как железной гребенкой прочесала война землю...

Шли ходко, лишь раз остановились на берегу родниковой речонки, укрывшейся в густом камыше. Плескались, как утки, вытирали потные лица подолами рубах, носовыми платками, фуражками, валились в траву, пахнувшую болотной гнилью. Из лесов, вставших сразу же за речонкой, несло ароматом сухого сена, малины, цветочной прели. Мрачно чернели просеки меж могучими стволами сосен, берез. И почудилось раз Косте, что ходят там, за этими заскорузлыми стволами люди, на кепках которых скрещенные листья. Наблюдают, как во весь рост нетерпеливо расхаживает по топкой траве Яров, как палит папиросу Ваня Грахов, как раскинувшись на спине смотрит Карасев сквозь стекла пенсне на плывущие по небу облака, как сняв фуражку аккуратно расчесывает мокрые волосы гребнем плечистый, крепко сложенный, Канарин. Наблюдают и о чем-то переговариваются вполголоса. Но вот по одной команде вскинут винтовки и закричат от боли его товарищи, повалятся — кто в траву, кто головой вниз в эту бегущую безмятежно мимо песчаную рябь речонки. И стало жутко на миг, крепче стиснул в кармане кольт.

Успокоил ворчливый голос Струнина. Перематывая портянки, ругал Ярова за то, что вместе с Шамановым и Савельевым хотел было и инспектора оставить в городе:

— Совсем ты меня в старики зачислил, Иван Дмитриевич. А знаешь сколько верст я прошел в мировую? Или ты не видел, как я стрелял по белогвардейской сволочи? Ведь вместе лежали в окопе, одну землю да пыль

глотали, вместе наступали. А тут — побудь в городе, путь, дескать, быстрый да долгий для твоих стариковских ног. Эх, ты, Дмитрич...

Яров лишь улыбнулся. Думал он, видно, о другом и плохо понимал ворчание своего фронтового старшего товарища. Расхаживал все так же без устали и без конца по узенькой тропке. Смачно всхлипывала коричневая жижа под сапогами из яловой кожи. И все поглядывал на леса, на деревню, очертания которой всплыли над холмами, — крышами, купами деревьев, стогами за околицей и в поле. Как поняв о чем он думает, Ваня Грахов проговорил:

— Я бы, Иван Дмитриевич, не стал его брать сейчас. Засаду бы выставить, да проследить. По его следу к банде можно было бы придти.

— А если у него конь, — не подымая головы, все так же разглядывая синеющее небо, сказал Карасев. — Тогда как? Догонишь если, то можно и засаду...

— Конь ладно, — задумчиво потирая подбородок, ответил Яров. — А ну кто заметит засаду, донесет ему. И живым не возьмешь, да и стрельба начнется. Нет, — решительно закончил он, — надо его арестовывать. А потом в дорогу.

К деревне подошли уже в сумерках. Быстро оцепили высокий под железом дом в ложбинке возле пруда. Окна его были черны. Эту черноту еще больше оттеняли три ствола древних берез, подымающихся из сада. Свисали на острые колья ветви с яблоками. Дверь в низенький хлев была приоткрыта, оттуда сочился бледноватый вздрагивающий свет, доносились приглушенные голоса, покашливание. Вошли все, с оружием наготове. Возле порога на чурбаке сидел высокий парень, голый по пояс, в диагоналевых брюках, галошах на босу ногу, в черном картузе на голове. Лицо его было желто от света керосиновой лампы, стоявшей в ногах. В одной руке он держал окровавленный нож, другой придерживал подвешенную к жерди зарезанную овцу. Увидев вошедших, парень опустил руку с ножом и проговорил растерянно:

— Вот тебе и гости, Нил Петрович...

Толстый человек в нижней полотняной рубахе, с гривой седых волос, спадавших на плечи, как у попа, вытиравший руки о полотенце, обернулся резко и воскликнул:

— О, господи...

Разогнул спину, опустил руки, выронил полотенце, на земляной пол. Но тут же после вторичной команды Ярова поднял их вверх. Парень тоже бросил нож под ноги и, не подымаясь с чурбака, растопырил пальцы рук над головой. В то же время зорко и вороватo забегал глазами по кителю, лежавшему возле чурбака.

Обоих обыскали. В кителе нашли револьвер с тремя патронами, и папиросы-самоделки.

— Табачок, Василий, не из интендантского склада? — как бы невзначай спросил Иван Дмитриевич, разглядывая папиросную гильзу со всех сторон. Василий ответил в нос и отрывисто:

— Не спрашивал у торговки.

— Не любопытный, значит?

— А чего мне.

Он поднялся, навис над маленьким Яровым — широкоплечий, с крепкой грудью, вздрагивающими мышцами рук. Лицо его было бы красиво, если бы не резко выдающиеся скулы, отчего щеки запали в глубокие впадины. Ноздри крупного носа двигались нервно, как будто раздражал его запах дымящегося керосина, овечьей крови.

— Может торговку запомнил? При случае покажешь...

Василий вздохнул шумно, подумал, прежде чем ответить на этот вопрос.

— На базарах все на одно лицо. Да и чего мне запоминать. Купил да пошел в сторону.

— Купил да пошел, — повторил Яров.

Он сунул коробку с папиросами в карман гимнастерки, обернулся к агентам:

— Обыскать все вокруг. Да понятых найдите, чтобы все как полагается по закону. И чтобы протокол был тоже к ордеру на обыск.

— Мяско кому готовили? — спросил он снова Василия. Не ожидая ответа, положил на жерди китель. —Не брату? Или может Гордо захотел плов по-литовки сготовить? Или Мама-Волки отощал?..

Он задел плечом овцу, туша заколыхалась, заскрипела натужно жердь. Василий ухмыльнулся и было жутковато видеть эту улыбку, открывавшую редкие темные зубы. Да еще около окровавленной туши, в пляшущем свете погасающей видно лампы, под дулами наганов.

— У нас дороги разные...

— Это с той поры как вы положили двух агентов в уг-

розыске, — быстро и зло спросил Яров. И подался вперед, как собираясь боднуть головой в плоский живот стоявшего перед ним бандита. Тот погасил улыбку и зябко поежился, точно дунул порыв ледяного февральского ветра сквозь приоткрытую дверь.

— Вы бы не обижались на Колю, — мягко попросил он. — У Коли собачья жизнь вышла. Сам голодал, а троих сестренок кормил. В тюрьме его крепко били мокрыми полотенцами, до полусмерти, зубы-коренники все высадили, ребра живого нет.

— Может в санаторий его, — предложил язвительно Яров. — На отдых. Только почему же сам из рабочих, а стреляет тоже в рабочих.

— Не обижайтесь на Колю, — помолчав, опять тихо и мягко попросил парень. — Не любит он людей, кто с тюрьмой имеет дело...

— Ну, хватит, — оборвал его Яров. — Адвокат нашелся. Сам-то понимаешь, что тебе грозит...

— Я что, — махнул рукой Василий.

— Где Коля?

Василий развел руками:

— Как бежали тогда в разные стороны, так с той поры и не встречались. Вроде зайца прятался по кустам в лесу.

— Может покажешь, где прятался в лесу?

— Да разве ж найдешь, — опять улыбнулся криво Василий и покосился на копошащегося под лесенкой Струнина. Тот ворошил палки, какие-то колеса, гремящие банки, чихал и кашлял от пыли. В доме тоже доносился стук и топот каблуков, голоса, среди них выделяющийся женский. Яров тоже посмотрел мельком на Струнина, усмехнувшись, спросил:

— Знать у тебя плохая стала память, Василий...

— Что поделаешь, — покорно ответил тот и вздохнул, сплюнул под ноги. Попросил грубо и опять отрывисто в нос:

— Долго мы так с поднятыми руками стоять будем? Как овцы подвешенные.

— Сколько надо, столько и постоишь, — ответил за Ярова Струнин. — Ишь, какой нетерпеливый.

Торговец шкурами тоже двинулся наконец-то. И это его движение вынесло Ярову решение:

— Ладно, в городе может разговорятся. Одевайся...

Он бросил Василию китель и обернулся к торговцу:

— И ты, гражданин, пойдешь с нами...

— Это я-то за что же? — взвыл тоненько торговец. — За то, что овцу свою собственную зарезал или как?

— За укрытие бандита пока...

Яров прислушался к топоту ног во дворе, прибавил тихо:

— Да вот еще что обыск даст. Посмотрим...

Появились Грахов с Канариным, принесли винтовку японского образца, фонарь электрический, горсть револьверных патронов, полевой бинокль.

— Ну, вот тебе еще статья. Хранение оружия... Так что давай-ка руки, свяжем мы их. А то хоть и стар ты, Нил, а тягу чего доброго запустишь...

— Хоть бы с женой дали попрощаться, — попросил уныло Капризов. Грахов, завернув ему руки за спину, отрезал:

— И без прощанья обойдешься. Шепнешь еще чего доброго ей на ухо. Мол, так и так ребятки... Где твои сыновья-то? Не в лесу прячутся? Говорят что в дезертирах они оба...

Мужик промолчал.

— Тоже, может быть, вяжут им руки сейчас, — сказал весело Василий, натягивая китель прямо на голое тело. — Вот так же как и папаше.

— За хорошие дела руки не будут вязать, — ответил ему на это Яров. Он оглядел его одетого в китель, покачал сокрушенно головой:

— Добрый и работящий ты был парень, Василий. Помнят тебя в Татарской слободе. Лампы паял хорошо, самовары лудил, и стекла вставить мог чинно. А вот защищать республику не пожелал. Лучше в дезертирах решил. А от дезертира до бандита оказался один шаг.

Василий удивленно уставился на Ярова. И даже голову склонил. Попытался улыбнуться, но улыбка получилась жалкая и быстро погасла:

— А откуда ты знаешь про меня?

Мне положено знать.

— Это верно, — согласился тот. Добавил уже с искренней грустью:

— Насчет ваших слов, товарищ комиссар, так скажу, что все мы хотим хорошего, а плохое само получается...

Яров подтолкнул его слегка, и он шагнул через порог в сумерки.

Шел и все клонил голову, как искал что-то на этой жесткой глинистой тропе. А то рыскал головой на избы, возле которых тенями возвышались редкие жители. Оглянулся лишь раз, когда тонко и пронзительно закричал торговец шкурами своей жене. Стояла она у края дороги, скрестив руки на груди, с виду спокойная, безразличная, но вот вскрикнула тоже, и понесся по деревне ее стонущий плач.

— О господи, о господи, — шептал, спотыкаясь о кочки торговец. Василий сказал громко один раз:

— Этот господь для нас с тобой, Нил Петрович, теперь суд да пуля.

И было столько веселья в этой страшной фразе, что Костя вздрогнул. Наверное и другим стало не по себе. Тихо проговорил Струнин шагающему позади всехЯрову:

— Разве такой варнак разговорится.

— Ничего, — после долгого молчания ответил ему Яров. — Языки при себе у обоих, не откусили еще пока...

22

Несколько раз приводили Василия на допросы из каземата. Он молчал и лишь однажды высказал с глухой тоской в голосе:

— Скажу — положите, не скажу — тоже положите. Лучше не брать грех на душу.

И перекрестился. А поздней осенью был приговорен губревтрибуналом к высшей мере наказания.

Торговец кожами заговорил сразу. На первом же допросе попал на эту самую мульку.

— Рассказывай, Нил Капризов, как ты вступил в преступный сговор с бандитами — начал с ним разговор Яров. Не успел торговец открыть рта, прибавил:

— И как ты хранил ворованное с сыновьями в лесной землянке. Откуда оно у тебя?

Этот человек, не искушенный в уголовных делах, имевший всю жизнь дело с кожами, принял его слова за чистую монету. Он повалился со стула к ногам Ярова, завыл тонко и дико. Из его бессвязных слов можно было

понять, что кто-то соблазнил, запугал темного деревенского мужика. Сколько бы стукался он лбом об пол, не подними его Яров, не поднеси ему стакан с водой. После этого Капризов затих, заговорил уже успокоенно. Оказывается, узнал Василий, приходящийся ему дальней родней, о том, что сбежали из армии сыновья Капризова, узнал, что прячутся они в лесной землянке. Как-то по весне пришел и предложил помочь ему в одном деле. В случае, если бы отказался Нил, тогда бы сыновья познакомились с чрезвычайкомом. Вот и поехал он, безмозглый, человек, в город с подводой, а оттуда повез в лес эти самые фуфайки, да шаровары, да шинелишки. Пообещал ему еще Василий, что бояться нечего, что, мол, скоро власть переменится и будет ему, Нилу Капризову, за подмогу благо великое.

Рассказывал тихо, посапывая, как всхлипывая, и все упрашивал, чтобы пощадили его сыновей. Яров, выслушав, сказал ему в ответ:

— Сам воровал, сам и поедешь за товаром.

Лишь в деревне Капризов заподозрил неладное. Наверное, навели на подозрение конные милиционеры летучего отряда, приданные угрозыску. Потребовал, чтобы ему показали арестованных сыновей. Яров, озлившись, показал ему револьвер:

— Хочешь видеть живыми сыновей, поедешь...

И этим окончательно убедил мужика, что провели его в уголовном розыске, но лошадь запряг Капризов. Потом ревел посреди лесной поляны, глядя на сбившихся в кучу дезертиров и среди них двух его сыновей — похожих на него — толстых, высоких, в замятых шинелях, папахах, с одутловатыми лицами. Тупо и безучастно смотрели на отца, вроде как был он для них чужой и незнакомый. А в землянке, под полом, отыскался и товар из интендантского склада: фуфайки, белые маскировочные халаты, шаровары, матросские рубахи, кальсоны, рубашки.

— А продукты где? — невесело спросил Яров торговца. — Должны быть еще мука, ландрин, махорка?

— Этого я не знаю, — ответил Нил, — может на второй лошади увезли. Был еще безбородый старик, маленький, в балахоне, на гнедой лошади. Куда он поехал и откуда он сам — не знаю. Не докладывали мне налетчики. Самих-то их толком не разглядел — ночь была.

На другой день в уголовной милиции Яров собрал сотрудников. Всем и без его слов было понятно, что неспроста Василий Артемьев сулил Капризову великие блага, значит, связан с белогвардейским подпольем. Не оживились и не высказали особой радости, узнав о старике на гнедой лошади. Таких стариков с гнедыми лошадьми в городе была уйма. Семен Карпович прежде всего вспомнил извозчика при бане, который не то что в налетах, еле ноги уже таскает по земле. Савельев тоже вставил свое:

— В рабоче-крестьянской инспекции Иван Иванович на лошади служит, так человек этот вина поднеси не примет, не то что с уголовным миром затевать «дело».

Яров поднялся с непримиримым лицом, навалился на стол пальцами, хмуро оглядел собравшихся. Сказал, как вынес приговор:

— Всех под наблюдение: и тех, кто еле ноги таскает, и тех, кто вино не употребляет. Подозрительных на обыск.

С одним из таких обысков Костя, Семен Карпович и Савельев пришли к лавочнику Ферапонту Луканичеву. Стоял дом Ферапонта возле Волги, на отшибе. Одни окна выходили на реку, другие на овраг, заросший крапивой, заплывший мутной водой, заваленный сором. Низ дома был каменный, верх для жилья — бревенчатый. В бывшей лавке они увидели лишь пустые лари, разбросанные поломанные весы, развороченные, точно топорами, деревянные стойки, клочья от мешков. В жилых комнатах тоже все было сдвинуто, разбросано — казалось, хозяева куда-то собрались бежать, да задержало что-то. Две женщины, какие-то безликие и безмолвные, сидели на кроватях — смотрели на агентов со страхом. Сам хозяин дома — старик с белой до пояса бородой, розовощекий, что перезревшее яблоко, с гладеньким безволосым черепом, в парусиновой блузе, подпоясанной ремешком, валенках, встретил агентов радушно. Даже спросил Семена Карповича про здоровье, пожаловался на свои ноги —мол, опухают, дрябнут. Вобщем ничуть не показал виду, что к нему пришли с обыском, а вроде как дорогие родичи пожаловали на церковный праздник. Ходил следом за ними по маленьким и тесным комнатам, пропахшим сыростью, ладаном от горевших лампадок под образами, какими-то едкими лекарствами — помогал отодвигать столы, стулья, раскрывал визгливые дверцы шкафов,

отомкнул с прибауткой здоровенный сундучище. Сам выгреб пронафталиненные саки, полушубки романовские, тряпье, годное только на ветошки. Тенью двигался за ним его бывший работник — глухонемой парень — косматый, длиннорукий, скуластый. Крутил головой по сторонам, точно птица, следил за движением губ хозяина, за движением его рук. Один знак бы ему — и бросился бы на агентов, ломая им кости этими тяжелыми кулаками. Но хозяин ни о чем не беспокоился — он все посмеивался, а то принимался жаловаться на времена.

— С чего бы я своих дочерей да внуков в деревню отправил, Семен Карпович? От хорошей да сытой жизни. Сам корочкой питаюсь да квасом, да молитвами. Хорошо еще, что бога не реквизируешь.

— Это верно, — согласился, улыбнувшись Семен Карпович, — разве только, что если голову снимешь с плеч. А погребочек где у тебя, Ферапонт Илларионович? Не во дворе?

Наверное, в глазах старика успел заметить какое-то замешательство, хмыкнул удовлетворенно.

— Какой тебе погребок, Семен Карпович, — спускаясь вслед за ним по осклизлой деревянной лестнице, покрикивал уже обеспокоенно Ферапонт. — С чего бы... Да ну коль не веришь, ищи. Вон тебе и сарай с лошадью. Обыскивай — я весь нараспашку. Коль за душой ничего не прятал, душа прозрачная...

— Прозрачная, значит, — бормотал Семен Карпович, обходя сарай, остукивая углы. Всхрапывала сонно, стукала копытами гнедой масти лошадь. Семен Карпович похлопал ее по морде, как будто хотел спросить о чем-то. Подмигнул Косте зачем-то и ни слова не говоря, вдруг пошел к оврагу. Остановился возле заржавелых балок, сваленных грудой возле забора и оглянулся на Ферапонта, пристально глядевшего на него, на глухонемого, сжавшего кулаки за спиной Николая Николаевича. В наступившей резкой тишине услышал Костя и шум листвы от предутреннего ветерка, плеск волн, внизу под кручей, тяжелое дыхание Ферапонта, сопенье Семена Карповича.

— Откуда балки, Ферапонт Илларионович? От гимназии натаскал? А главное для чего? На постройку если, так не поверишь. Себе на могильный памятник — так некрасивый получится из такой ржави.

Хозяин молчал, только хахакнул и потер бороду. Се-

мен Карпович опять мигнул Косте и Савельеву. Втроем они принялись оттаскивать балки в сторону, вдыхая растревоженный железом горький запах полыни. Такая же горечь поплыла меж зубами у Кости. Он сплюнул и тут увидел припорошенный землей люк. Его подняли разом и открылся в земле неглубокий с осыпавшимися стенами погребок. Чернели в глубине две бочки, годные для засолки огурцов или капусты. В одной из них хранился изюм, в другой почерневшая засохшая мука. Бочки вытащили на землю — и вот тут не выдержал Ферапонт Луканичев. Он взмахнул костлявым кулаком, закричал:

— По миру пускаешь меня, Семен Карпович. Уморить хочешь голодной смертью.

Рыкнув, шатнулся было к ним глухонемой, но остановился, увидев дуло нагана в руке Николая Николаевича. Послышался его насмешливый и злой голос:

— Все слежу я за твоим слугой, Ферапонт Илларионович. Эк, пса натаскал. Чистый волкодав. Вели ему убраться в сторону, а то ненароком положим его в этот погребок.

Ферапонт обмяк сразу, махнул рукой глухонемому. Тот потоптался, присел на корточки. А старик, уже плачущим голосом, стал выкрикивать:

— Выслуживаешься, ты Семен Карпович. Бывало раньше обходил нас стороной, не трогал без нужды, ели хлеб и соль пополам. Теперь отнимаешь на манер комиссаров.

— То ли еще отняла кой у кого революция—глухо ответил ему Семен Карпович, отряхивая фуражку. — А то эка — изюм, да мука...

Он постучал сапогом по бочке, уже с каким-то удовольствием прибавил:

— Подкормим, глядишь, пролетариат, голодных рабов...

И подумал невольно тут Костя: вот ведь, ругал Шаманова Иван Дмитриевич Яров, будет он чужой для революции, мол, наплевать ему на нее, а Семен Карпович отыскал продукты. Коль чужой был бы, не открыл бы этот погребок, ушел бы, и дело с концом. Не стал бы обижать бывшего лавочника — вон как ненавидит сейчас он Семена Карповича. Снова стали симпатичны ему эти черные усики, капризная губа, выгнутый носик, красные сапоги, фуражка, запачканная землей и мукой.

— Иван Дмитриевич похвалит вас теперь, Семен Карпович. Вон сколько муки да изюму...

Шаманов усмехнулся, услышав эти слова:

— Его похвальбы мне, Константин, не дождаться. Разве что если Колю заметем мы с Николаем Николаевичем.

Савельев, пряча папиросу, в ладонях, отворачиваясь от ветерка, летящего с реки, вмешался в разговор:

— Слышал я вчера, будто наказали из комитета партии взять Артемьева в августе. Строго наказали, а то и не усидеть вроде бы Ярову на своем стуле...

Он обернулся к старику, застывшему на месте, прикрикнул:

— Чего встал — запрягай лошадь, повезем добро в милицию. Ну... — прикрикнул он и выругался матерно. Старик похромал к сараю, а Савельев, пристально глядя ему вслед, спросил Шаманова:

— Как думаешь — не из склада эта мука с изюмом?

Семен Карпович покачал головой:

— На складе изюма не было. И мука старая, залежалая. Из своей лавки берег старик, это уж точно. Одна только и есть улика, что старик да гнедая лошадь.

23

В первых числах августа ушел на фронт бывший матрос с крейсера «Баян» Македон Капустин и утонула Настя. Узнал об этом Костя, вернувшись из уезда, где несколько дней разыскивал угнанную конокрадом лошадь. Лошадь нашел, вернул хозяевам, а конокрада — парня крикливого и злого, что оса, пригнал в город, в уголовный розыск.

Здесь на удивление было тихо. Лишь в камере, за барьером, на куче тряпья, похрапывал мужчина, наверное, задержаннный за праздношатательство или бесписьменность. На скамье для арестованных сидели, толкуя о чем-то Николай Николаевич и Ваня Грахов. Рядом с ними обедал Семен Карпович. Он совал в корзиночку-плетенку огурец, макая его в соль и хрустел смачно, с любопытством при этом разглядывая Костю, грязного, потного, прокопченного ветрами и солнцем, покрытого пылью с ног до головы. И злющего тоже, голодного. Поняв это, протянул вареную картошину, огурец, кусок хлеба.

— Сегодня могу поделиться, а завтра полудневной паек отдавать всем придется в пользу Красной Армии. А потом чайку попьешь, — постукал он по бутылке, выглядывавшей из корзинки. — Вот так и я нажил со временем буркотню в брюхе. Сегодня не ешь, не пей, да завтра, а может и послезавтра.

Он вздохнул, снова принялся хрупать остатками огурца, да вспомнил:

— А у нас новость во дворе, Костантин. Настька, дочь Силантия, потонула. Три дня не была дома. Силантий заявлял нам. И Ольга его забегала ко мне не раз. Думали все, что сбежала с каким-нибудь гусаром. А день тому назад отыскалась в Волге, утянуло за аэропланный завод. Посмотрел Силантий — признал, ревел белугой. Дочка от первой жены, любимица. Говорят водой накачало ее так, что словно водолаз стала...

Он вытащил бутылку, отпил глоток — протянул Косте. Тот взял, точно во сне, отпил глоток и, вытерев пыльным рукавом губы, спросил хрипло:

— Ну?

— А что ну, — спокойно отозвался Семен Карпович, аккуратно уставляя бутылку на место. — Сегодня хоронить будет Силантий.

— С попом собирается хоронить, — тоже как показалось Косте, равнодушно сказал Николай Николаевич. — Красивая была девка, что и говорить. Нюхалась только больно много с парнями. Падка на гулянки. Полночь ли не полночь, а всегда с кем-нибудь у каретника маячит.

Семен Карпович закрыл замочек на корзинке, положил ключ в карман. Потом, щелкнув портсигаром, принялся сворачивать папиросу.

— Это ты верно, — поддержал он Николая Николаевича. — Падка девка была.

Он глянул на Костю и опять с любопытством:

— Заходил Николай Николаевич в губздрав. Рассказала там одна девица, что был у Настьки несколько дней тому назад парень. В синем пиджаке, фуражке, сапогах хромовых, высокий, загорелый. В общем как ты, Константин.

— Я был у Насти, — упавшим голосом ответил Костя. — Нравилась она потому что мне. Вот и зашел...

Теперь все трое уставились на него с удивлением, замолчали, лишь переглядывались между собой.

— Девка красивая была, что и говорить, — нарушил первым молчание Савельев. — Я вон семейный человек, двое детей, а и то нет-нет да остановишься, как увидишь ее. Что ножки, что ручки, что глазки. И улыбалась. Она вроде бы каждому улыбалась. Заманчивая девка. А вот следов насилия не нашли на ней мы с доктором. Вроде как сама она пошла на дно. Тут дело такое могло быть — упала невзначай, а никого рядом — от одного страха захлебнешься. Тем более, что и плавала плохо, как рассказывал Силантий.

— А может и на лодке с кем каталась. Вытолкнул ее гребец за борт и уехал. И такое могло быть, — вставил Ваня Грахов.

— Провожать пойдешь? — спросил Николай Николаевич Костю. — К вечеру готовят похороны Силантий с Ольгой...

Не ответив ему, Костя сел за стол и придвинул лист бумаги, собираясь писать показания. Подняв голову, увидел лицо конокрада и на нем злорадную ухмылку.

— Пробегал, начальник, — сказал и осклабился. Тогда случилось непонятное: щелкнул костяшками пальцев по краю стола, так как это умел делать Семен Карпович и заорал:

— Я тебе поулыбаюсь.

Парень сразу присмирел, поджался, забормотал что-то вроде извинения. А Семен Карпович одобрительно покивал головой и проговорил:

— Хорошо, Константин. Возьми-ка еще ножку от рояля, да посчитай ему ребра. А то уж больно нынче шпана научилась распускать язык, грамотные стали.

Этой ножки от рояля давно уже не существовало. Семен Карпович говорил так, для острастки. Но парень перепугался окончательно, со страхом смотрел на Костю, на Семена Карповича.

— Это при царе можно было, — проговорил плаксивым голосом.

— При царе можно было, — согласился Семен Карпович. — А теперь воруйте на здоровье. Ты, Константин, сведи его потом к Шуре. Пусть снимет отпечатки пальцев. Может не впервой у нас.

Он ушел, поскрипывая корзинкой, а Костя, торопливо дописав показания, сдал арестованного в каземат под стражу. Только после этого бросился бежать за реку.

Похоронную процессию он встретил у ворот дома. Впереди, сверкая рясой, болтая кадилом, вышагивал попик. Лицо у попика было сонное и безразличное. Лошадь погонял сам Силантий, мерно раскручивая в кулаке вожжи, шаркая подошвами сапог по пыли. Увидев Костю, приостановился и сказал печально:

— Вот и не стало моей дочки-красавицы, Константин Пантелеевич. Потонула в реке...

Лошадь нетерпеливо потянула вожжи. Заскрипели колеса. Подрагивал на телеге грубо сколоченный гроб. Сучки на досках глядели черными зрачками. Поплыло мимо лицо Насти — желто-зеленое, опухшее, обрамленное волосами, по-незнакомому светлыми. Мелко дрожали пучки полевых цветов.

Тихо постанывая, брели за телегой женщины, старухи — наверное, Настина родня. Мачеха пустыми глазами оглядела Костю, туже подтянула концы черного платка на голове и шумно вздохнула. Рядом с ней вышагивал Петька, странно, по-больному улыбнувшийся вдруг. В конце шли кучкой несколько интеллигентного вида мужчин и парней, девицы в белых блузках и черных юбках — наверное, Настины сослуживцы.

Остановилась на миг та самая, режеволосая, что видел в кабинете у Насти. Глаза удивленные и ненавистные даже. Подумал, что уж не его ли виноватым считает девушка в гибели Насти. И еще подумал: «А где же тот парень в желтой куртке?».

Замыкал процессию пьяный, инвалид на костылях, кричавший что-то про германский плен, утиравший поминутно мокрые губы рукавом кумачевой драной рубахи.

Толпа скрылась за поворотом. Он остался один посреди этой пыльной улицы в глубоких колеях от колес телеги, в паутине следов.

«Ну что вы, ну что вы» — прошептал кто-то над ухом. И снова увидел растерянное милое лицо, руки, которые никак не могли вставить лист бумаги в машинку.

«Ну что вы».

Кого она испугалась? Костю или другого человека, которого не было ни в кабинете, ни в губздраве, может даже не было в этот момент и в городе.

Стало зябко и жутко. Показалось, что какие-то глаза смотрят на него сейчас из-за реки, из этих молчаливых и толстых монастырских стен, из поблескивающих купо-

лов, из окон домов, из-за досок погнутых заборов. Солнце легло на голову жарким кольцом — плескалось желтое и дряблое. Опустил на минуту веки и наступившая темнота вроде бы успокоила, заставила вздохнуть облегченно.

24

Прошло несколько дней. Как-то в полдень Костю позвал на улицу Ваня Грахов. Спускаясь вместе с ним по лестнице, посмеиваясь и покачивая головой, стал рассказывать:

— Николай Николаевич мужика с девкой задержал на толкучке. За цикорий драли бешеные деньги. Ну, отобрал цикорий, как у спекулянта. А мужик на дыбы, орал, что жених в розыске для его дочки. Это, значит, назвал твою фамилию, Костюха...

И губастый рот растянулся у рассказчика в широкой улыбке. Тут же восхищенно прибавил:

— А девка хороша. Щеки как свеколкой потерты, бока выгнуты, губки, что малина на кусте... Не то что моя... Ну та что в Сретенском проломе.

Костя отмахнулся, обеспокоенный его словами. Открыл дверь и увидел во дворе Марию, а рядом с ней отца, мельника Семенова. Была Мария и правда что на гулянке — полыхала заревом — в нарядном платье, газовом шарфике, модных туфельках. Заулыбались оба, двинулись навстречу. Мария та, просто глаз не сводя, уставилась на Костю.

— Вот, Костя, — заговорил Семенов, оглядываясь на Николая Николаевича, стоявшего у подъезда, — приехали поторговать малость цикорием на житьишко, так этот гражданин взял и отобрал... У кого отобрал — у трудового крестьянина, у середняка, — уже закричал он и погрозил пальцем Николаю Николаевичу. Тот погасил окурок о дверь и стал виновато пояснять Косте:

— Отобрали и ну ехал бы домой. Спасибо, что еще протокол на предмет тюремного заключения не написали, да за реку не препроводили под конвоем. А он, мол, жених моей дочки тут работает в уголовном бюро.

— Так и надо, Николай Николаевич, — сказал Костя, отводя глаза от Марии, готовой вот-вот упасть ему на

грудь. — А то что же, вас, Василь Васильевич, помилуем, а других посадим. Как тогда другие говорить будут? Нас же за это поведут в ревтрибунал.

Перекосилось лицо у мельника. Скинул он быстрехонько картуз и в пояс поклонился Косте. Блеснула под пушистым хохолком потная плешь.

— Спасибо вам, господин Пахомов, за подмогу, от всего сердца спасибо.

А натянул картуз и разогнувшись, завопил, точно резаный поросенок:

— А как только будешь в селе, чтобы ноги твоей сыщицкой не было возле моего дома. Вилами пропорю иль помоями оболью. Идем, Марья...

Он дернул дочь за руку и та, все еще растерянно глядевшая на Костю, скривила некрасиво лицо. Возле ворот оглянулась еще раз — заплакала, да так, со слезами, и пошла по улице.

— Верно что ли невеста? — с любопытством спросил Николай Николаевич. — А я им не поверил. Потому что недавно ты насчет Настьки так ли расстроился. Знал, может быть и прошел мимо. Потому что теперь чего доброго расстроится семейное дело.

— Так и надо, Николай Николаевич, — опять сказал Костя, рассеянно продолжая смотреть на ворота, точно ждал, что вырвется Мария из рук отца и прибежит к нему. — Незачем жалеть, денег у него и так хватает. В богачах сельских у нас считается. Никакой он не середняк...

— А девка хороша, — забубнил снова восхищенно Ваня. — Не зевай, — подтолкнул он в бок Костю, — Догони, недалеко, чай, ушли.

Костя кивнул головой и послушно пошел к воротам. Но думал не о Марии, а о Насте. Сильнее чем в день похорон охватила его тоска. Эта тоска погнала по улице, привела в чайную. Увидев, его Иван Евграфович вытянул шею из окна кухоньки, готовый по одному знаку бежать к нему. И также неожиданно Костя повернулся и хлопнул дверью. Купил билет в электротеатр и тут же пошел обратно мимо изумленной билетерши.

Эта длинная и путаная дорога по городу вывела его на берег Волги. Разделся, бросился в воду вниз головой. Несколько быстрых взмахов и тело скрутило неведомой силой, потянуло вниз в зыбкий холодок. Рванулся впе-

ред с силой и водоворот остался где-то позади. А вот она не смогла так. Может напугалась или ноги свело судорогой... Вздрогнул от глухого гула в небе за рекой. Как-то почернело кругом. Он выбрался из реки, оделся, тревожно оглядывая сгущающиеся над городом грозовые облака. Пошел через горячий, как зола песок, потом побежал к пристани, потому что начали бить ему в лицо первые капли дождя, крупные, как ягодины. На пристани пристроился под крышей, навалившись на деревянные затертые локтями поручни, засмотрелся в воду. Плыла в ней муть, обрывки бумаги, вспыхивали светлые пузыри, лопаясь, как проткнутые невидимыми иголками. И все не проходила грусть, на душе было черно, как в этой глубине, погубившей Настю — черно и пусто.

Над городом с новой силой загремели раскаты. И вдруг как опрокинулось огромное ведро: хлынул ливень, погрузив все вокруг в серый сумрак. Вода с шумом бежала по улицам, хлестала с крыш. Одинокие прохожие прыгали зайцами в подворотни, неслись к пристани, подбирая штаны, юбки, платья, закрываясь кто чем мог. За все жаркое лето девятнадцатого года отливало небо свои слезы земле.

Кто-то встал рядом с ним. Оглянувшись, узнал Нинку-Зазнобу, выдыхащую шумно, в мокром, прилипшем к телу платье. Выжимала его — вода из-под кулаков сбегала ручейками. Улыбнувшись, сказала:

— Смотрю знакомый из розыска стоит. Вроде как тоже на ту сторону собрался.

— От дождя я это, — пояснил хмуро, недовольный ее появлением около себя. — А тебя что — опять выпустили?

— А чего держать, — выжимая теперь мокрые волосы, ответила девушка. — Чалить стали мне Федю Чесаного. Федя обрал почту, а я должна за него сидеть за решеткой. Пить пила с ним, так мало ли мужиков, с которыми пью.

В ее глазах появились хитрые огоньки, наклонилась, приглядываясь к собеседнику:

— Я ведь нажаловалась тогда на вас начальнику.

— Знаю, — все так же хмуро буркнул Костя, — читал в приказе.

Она засмеялась и погрустнела как-то. Влажное лицо потемнело.

— С ним как в гостях, — сказала задумчиво и с теп-

лотой в голосе. — Часа два говорили. Все я ему выложила. И как жила в Сызране с матерью. Как сманил меня Мама-Волки, ну Серега его зовут по-настоящему-то. Называл себя музыкантом. А вышло что вор. И меня приучил. «По городовому» бегала с ним, «торговала». Где придется — и на станции, и на трамвайных остановках. Обо всем рассказала без утайки. И какая жизнь душная у меня. Он слушал, мать так не слушала бы, как он слушал. Советовал работать, и чтобы бросила я свое ремесло. Пообещала я ему, что больше не попаду на вашу улицу. Вот честное слово, — проговорила она, быстро глянув на него и перекрестилась. Он засмеялся и этим вроде бы обидел ее, насупилась, отодвинулась в сторону:

— Вам бы всем таким как этот Иван Дмитриевич...

Он смутился, а она спросила угрюмо:

— Не поймали еще его?

— Кого это?

— Ну, Маму-Волки.

— Пока нет. Может знаешь, где он?

Она усмехнулась, стала глядеть на пароход, приближающийся к пристани. Его железный нос подымал из воды белые буруны. Потоки дождя рушились на палубу, полную пассажиров, сбившихся тесной толпой. Чад из трубы густо ложился на реку, покрывал пассажиров черным брезентом.

— А знала бы, — послышался ее раздраженный голос. — Не пожалела бы. Как он меня не пожалел. В пасху, в шалмане, все с меня проиграл. А потом и меня как собаку подзаборную на кон поставил и проиграл. Казимир такой есть — брюхатый, беззубый, вонючий. За печью я сидела, он полез ко мне. Страшная рожа — глаза маленькие, лапы мохнатые, как у паука. Убивец он, говорят, жуткий. Дотронулся рукой, так и закричала я даже, оттолкнула его. А Серега, ну Мама-Волки, взял полотенце, скрутил его и почал меня сечь. Сосет леденец, сечет куда ни попадя и приговаривает еще: «Будешь у меня строить княжну Мэри».

Вот с той поры не видела его. Слышала, что живет с какой-то папиросницей, а где — не знаю...

Прибавила решительно, откинув космы мокрых волос на сторону:

— Убила бы — дай волю. Убила бы, а потом бы плакала день и ночь, — закончила уже тихо и дрогнувшим

голосом.— Все же любовь моя первая. Чай, шестнадцатилетней уехала из Сызрани...

И как-то жалобно посмотрела на Костю. Он отвернулся, неожиданно спросил:

— Он не ходит в желтой куртке? Видел одного парня. С девушкой он красивой шел. Похож на твоего Маму-Волки, а одет в куртку желтую...

Она засмеялась иронически. Пароход тем временем плюхнулся о борт пристани, заскрипело дерево, грохнулся трап. С гомоном повалили пассажиры.

А на том берегу уже светлело. Ветер подымал и раздувал тучи, обнажались что полевые цветы грани радуги. И точно ее раскаленный конец, спущенный в Волгу, шипела звучно вода, выплескиваясь из иллюминаторов.

— Они, эти воры, часто одеваются в новое. Это чтобы незаметнее быть,— заговорила снова.— Может и есть у него желтая куртка. Я так не видела. Да и мало ли в желтых куртках парней. У меня был знакомый из автороты — тоже в желтой куртке, а сейчас где-то на фронте. А девушка красивая? — с нескрываемой ревностью спросила она.

— Красивая,— ответил не сразу и тихо Костя.— Только потонула она. Нет ее на земле.

— Жалеешь, знать ее? — разглядывая его сочувственно, спросила она.

— Жалею,— признался.— Очень даже...

Она вздохнула, помолчала, а потом сказала:

— А Мама-Волки так никого не жалеет. Только себя любит. Он бы и мать не пожалел, не то что меня. Жуткая у него душа. Да и все-то они там — воры и громилы с камнями вместо сердца.

— Чего же около них толкаешься, ехала бы в Сызрань.

Она усмехнулась горестно и пошла к трапу. Взявшись за сходни, крикнула:

— А начальнику передай мой поклон...

Не договорила, сердито рыкнул на нее матрос у трапа. Она покачиваясь побежала на палубу. Звонко простукали каблуки ее стоптанных туфель. И тотчас же заревел гудок. Пароход отшатнулся от пристани, стал вываливать на густопенные валы. Она встала возле трубы, махнула ему рукой. Он ответил ей тем же, с каким-то нахлынувшим вдруг чувством теплоты и радости...

И больше никогда не встретил ее. Могла переехать в другой город и снова «торговать» пассажиров или же отправилась в Сызрань, могла заболеть тяжело и могла даже выйти замуж. Пути у нее, как и у каждого жившего на земле, были всякие...

25

Приснилась однажды желтая куртка. Будто плыла в небе облаком. С матерью смотрели ей вслед с высокого обрыва возле мельницы Семенова.

— Что же ты, — укоризненно шептала мать, — подцепи вилами, а то улетит. Он разбежался, прыгнул — легкий, как пушинка — уцепился за куртку. А из нее глянул Сеземов. Наотмашь ударил по голове длинным, как шкворень, револьвером. Вскрикнул и проснулся. Сел на кровати, глядя в черноту августовской ночи, на глыбу каретника, на звезды, холодно мигающие над крыльцом дома Силантия. В тишине из соседней комнаты доносились негромкие слова, падали оттуда на половицы пола бледные тени-отражения горящих лампадок. Молилась Александра Ивановна — слова молитвы, видно, и разбудили. Кажется опять плакала эта женщина — оставшаяся одна в миру. Богу жаловалась, а может и просила его о чем. Невольно вспомнилась Косте своя бабка — полная, круглолицая, бабка Дуня — тоже истая богомолица. Так же вот средь ночи стояла на коленях перед образами. А в избу вдруг врывался свистящий ветер, гнал снежную крупу через порог. В клубах пара вырастал дед Петр — похожий на этих вот святых на иконах — такой же узколицый, длинный, с черным закопченным лицом. Втаскивал какие-то мешки в сени, покрикивал сердито, хлопая после каждого сброшенного мешка рукавицей по валеным сапогам. Это он из извоза возвратился, далекой и снежной дороги.

Вспомнился и отец. Вот он всаживает лопату в землю, собираясь подкапывать стену дома, вот он рубит дрова в лесу — поблескивает топор над головой. Изо рта тоже пар на весеннем морозце. И мучительно нестерпимо захотелось в деревню, в свою избу, к матери, к ее теплым рукам, наливающим в чашку молоко, ставящим на стол чугунок горячей дымящей картошки. Решил завтра же переговорить с Яровым. С тем и уснул. А утром вы-

шел за ворота дома и отменил свое решение: снова захлестнула, закрутила и понесла работа.

Сотрудники уголовного розыска выбивались из сил от нескончаемых краж и грабежей. В комнатах всегда толкался потерпевший народ. У одного вырвали котомку, у другого вырезали из поддевки кошелек, у третьего из кармана вытащили документы. Особенно шумно было возле стола Вани Грахова, заведывающего все еще складом предметов вещественного доказательства. Кладовка, где хранились вещи, не имела окон и потому все дела он вел здесь. На столе у него навалом громоздились банки, склянки, котомки, лапти, лифчики, трубки от самогонных аппаратов, куски материи, костюмы и белье, ножи, отмычки, пачки обесцененных в те времена керенок, кольца, браслеты, дамские серьги, нательные крестики. Приходили люди опознавать вещи, принимать в наследство или от убитого или от умершего внезапно. Операции эти сопровождались истерическими воплями, бранью, а то и слезами, а то и обмороком слабонервного посетителя. После в комнате остро пахло нашатырным спиртом или валерьянкой.

Спокойные минуты выдавались изредка. Тогда агенты заводили беседу, покуривая или посасывая леденцы. Удивляло Костю, что редко заходил разговор о работе, о краже, о преступниках. Как пахари собирались в кружок на краю поля, оставив плуги, разнуздав взмыленных лошаденок. Или же косцы — вымахнув утреннюю росу — теперь отдыхали перед тем как отправиться в село к своим избам. Ваня Грахов, постукивая тяжелым, как копыто лошади, кулаком по столу, принимался ругать за что-нибудь свою знакомую из Сретенского пролома. Петр Михайлович, отец большого семейства, оставшегося в деревне, рассказывал о своих планах:

— Четыре десятины свои, да две брат отдаст — так я на таком наделе живот себе отрощу быстро, — шутил он, попыхивая табачным дымком. Николай Николаевич тот больше молчал. Лишь посмеивался и поглаживал привычно рыжие вихры на затылке. Узенькие раскосые глазки его помаргивали добродушно, как у старого и доброго пса на солнцепеке, а то и совсем закрывались. Коротал тогда время в чуткой полудреме.

Карасев после гражданской войны собирался опять изучать историю.

— Переловим все жулье, — протирая пенсне платком, тихо говорил он, — и сяду я за древний Рим. Знаете как начинал свои речи Цицерон...

Карасев вскидывал руку, щеки его еще больше наливались румянцем. Кричал звонко и так торжественно, что у Кости замирало сердце:

— Слушайте меня, квириты...

А тише и грустно заканчивал:

— Только отрубил Цицерону голову император Антоний. И самому Антонию пришлось отравиться. Спасался бегством от Октавиана...

Эх, подумать только: был Спартак и был Нерон, был Сулла и был Гомер. Жили и смешно подумать — тоже страдали и плакали, и животы у них болели, как у Семена Карповича...

Смеялись после этих слов. А тут вступал в разговор Канарин. Этот мечтал поскорее жениться на какой-то девице из пригорода, путейской рабочей. Мечтал переселиться к ней в дом, завести ульи, чтобы пить по вечерам чай с медом. Врачи советовали ему этот мед, для того, чтобы меньше болела голова. Потирая розовый шрам на виске, жаловался не раз:

— По утрам особенно болит. И все в этом проклятом месте. Чортов полковник.

Это ругал он царского полковника, который выстрелил в него из револьвера в ноябре семнадцатого года под Петроградом. Не захотел сдать оружие, выстрелил сквозь закрытые двери и сам лег у порога, простреленный солдатами полкового комитета.

— Вот только папаша Надежды выйдет из больницы, сразу запросим свадьбу. Вдруг откажут?

— Не откажет, — уверяли его товарищи. — Такому парню разве откажешь. Заживешь ты в своем доме, Павел, как у Христа за пазухой.

И думал Костя. Почему так вот воры не живут. Учили бы историю про этого самого Цицерона или ульи бы ставили в огородах. Решился спросить об этом Зюгу. Того самого черноволосого паренька, что смотрел на него на берегу реки у костра в первый день приезда, того самого, что выдернул из руки старика платок на Толкучем рынке и про которого Семен Карпович говорил, что у него «умишко, как у комара». На этот раз Зюга попался в Успенском монастыре, стоявшем в двадцати вер-

стах от города, на берегу Волги. Пытался вытащить во время крестного хода из руки богомольца сверток с едой. Разъяренные старики и старухи палками отдубасили Зюгу, наставили ему синяков на скулах, выбили зуб, надрали клочьев из длинной женской кофты. Едва отбил его волостной милиционер, стащил в сторожку до приезда Кости. Вроде бы лежать пластом, вроде бы ни до чего, а он еще пел. Грелся на спине возле трубы, на стальных плитах, раскинув руки, тоже в багровых ссадинах и шепеляво выводил слова песни, длинной и бесконечной как волны, бегущие за бортом колесного пароходика:

«Куда пойти и где дадут
вору бездомному приют?
В шалмане, в шалмане...»

За эти полтора месяца работы Костя повидал немало: раскрытые шалманы, столы, залитые вином, разбросанное из углов тряпье, которое не успели сплавить скупщикам. Знал он уже, что жизнь уголовника страшна своей безысходностью. Кончалась она не раз на его глазах то ли от ножа, то ли от чахотки, то ли от сифилиса, то ли от жутких побоев, то ли от вина. Жалости не было. Разве что сочувствие. Помнились слова Семена Карповича: «А жалеть их нечего. Сами выбирали свой жребий». О том, что таких как Мама-Волки можно вывести в люди, не поверил Ярову тоже, как и Семен Карпович. Да и было тогда не до воров. Людей радовал каждый лишний кусок хлеба, по улицам двигались дроги с гробами умерших от тифа, от голода, изрубленных саблями Озимова. Комсомол учился на строевых занятиях стрелять из винтовок и наганов. Уходил отряд за отрядом на фронты. Кому заниматься воспитанием, как сказал тогда Яров Семену Карповичу?

Но вот запомнились потеплевшие глаза Нинки-Зазнобы, ее потеплевший голос, когда она говорила про Ярова. Как о дорогом человеке говорила... Бежал пароходик вниз по Волге, покрикивая гудком, откидывая шумящие волны под кормой, мерно дрожа палубой. Уплывали назад деревни, вскинулись круто над водой фермы моста, заблистали вдали луковки церквей, белые стены зданий, потухшие трубы, пепельные руины пожарищ потянулись вдоль правого берега.

Курить дадут, вина нальют
и песню жулики споют
В шалмане, в шалмане...

— В слесари бы ты шел, Зюга, — сказал, присев около беспризорника на корточки. — Или в каменщики, что ли... Не надоело так-то вот? Сколько раз ты уже был в колонии?

Парнишка поднял голову, удивленно уставился на него зелеными глазами, оперся на локти. Спросил сердито:

— Может быть еще в «собаки» вроде тебя?

Отвернулся, раскинул грязные босые ноги на палубе. Можно подумать, загляделся на лодки рыбаков, застывших посреди реки или на богомольцев, гомонящих ровно вокруг них. Но вот заговорил, как сам с собой, широко улыбаясь разбитым ртом:

— В жиганы бы. Одену тогда лаковые сапоги, шелковую рубашку. Приду в шалман — мне привет и почет. За стол посадит дядя Саша, гармониста позовет. Девочки прилетят тут же, песни запоют. Буду пить и слушать песни, а потом за лифчики девочкам червонцы прятать. И каждое мое слово — закон. Ни-ни чтобы. Не назовут тогда бродягой подзаборной, пусть попробуют...

Голос его дрогнул. Он цыкнул, засмеялся опять, радуясь своему рассказу.

— А потом забьют насмерть палками, — насмешливо проговорил Костя. — Вот тебе и лаковые сапожки...

— Не ботай, — закричал Зюга злобно, так что обернулись сидящие рядом пассажиры. — Наслышался я вас «собак». Учить еще захотел. Добренький какой. А Шаманов мне прошлый раз в ухо закатал. Мол топить таких, как я надо... И колония надоела. С утра до вечера стукай молотком. На воле лучше.

Он сплюнул за борт и хрипло затянул:

«А после в карты оберут
за девку финкой полыснут
В шалмане, в шалмане...

Костя тоже со злобой плюнул за борт. Не получился у него разговор. Изловить карманника было легче, оказывается, чем найти путь к его сердцу.

26

Дни улетали суматошные: в дребезжанье телефонного аппарата с потускневшими и облезлыми чашечками,

в топоте бегущих по лестнице агентов, скрипе расхлябанных осей пролетки, наконец-то выделенной губисполкомом, в долгих или коротких разговорах с посетителями, которых никак не убывало.

Пришла как-то мать Артемьева. Встала в дверях комнаты — высокая, худая, в длинном сером платье, башмаках. Мяла платок в руках и оглядывала агентов тревожным взглядом.

— Чего тебе, гражданка? — спросил ее Петр Михайлович.

— Насчет Артемьева Николая. Мать его. Что будет с ним, если арестуете?

Петр Михайлович подошел к ней, хотел обрушить на нее гневные слова. Но, наверное, увидев ее запавшие измученные глаза, вздохнул, сказал тихо:

— Он же, твой Коля, двоих наших пареньков положил в землю. Вот тут и гадай, что ему будет...

Артемьева вытерла лицо платком, больше ничего не спросила и, не сказав до свидания, пошла по коридору. Задумчиво проговорил Струнин:

— Для матери, видно, сын в первую очередь сын, а потом уж бандит.

В августе ревтребунал приговорил Кирилла Локоткова за злостную спекуляцию к расстрелу. Об этом Костя прочитал в губернской газете. Сказал Семену Карповичу, тот отнесся вроде бы спокойно к сообщению. Так показалось, а в душе что-то, видно, ворохнулось у Шаманова, потому что не ответил ничего, занялся бумагами. Может, как и Костя, вспомнил жаркий июльский полдень, Кирилла Локоткова в длинном дорогом пальто, шляпе, подпрыгивающее на носу пенсне. Вспомнил, может, эти слова:

«Один раз вы, Семен Карпович, уже испортили мне френч»...

Но долго думать да вспоминать им не приходилось. Семен Карпович, тут же подняв голову от бумаг, сказал:

— Совсем забыл с твоей болтовней, Пахомов. На Федоровской «тихая». Бери ордер и дуй.

Вечерами не спалось. Плыли перед глазами то багровое лицо Локоткова, то скорбное и чистое, не то что там, на фабрике, лицо матери Артемьева. До головной боли гадал: кому пришло на ум очистить квартиру на Федоровской без взлома замков. Может, и Коле? Кто скажет

об этом?.. А надлежало знать Пахомову, раз поручено это дело.

Вставал после таких бессонных ночей разбитый. Жевал кусок хлеба нехотя, под монотонный голос Александры Ивановны. Рассказывала ему о том, что жить теперь будет легче, что должны прибавить паек, по слухам, конечно; о том, что калеке, тому самому, что приходил во двор, воткнули на берегу реки нож в живот. Играли в карты и спьяну это ему, по баловству...

Думал рассеянно:

«Дадут теперь и калеку Пахомову. А у него Федоровская, кражи на вокзале, угнанная лошадь из рабоче-крестьянской инспекции. За чего и браться».

Уставал и рождалось иногда раздражение на Александру Ивановну, на Семена Карповича. Завели его на такую работу, запрягли, как лошадь в телегу. Стоял бы он там сейчас, на фабрике, рядом с матерью Артемьева или точил колеса в колесном цехе или на тормозном заводе что-нибудь строгал. Подумывал не раз подать заявление об уходе из розыска, записаться в какой-нибудь из отрядов, уходящих на фронт. Может, и отпустил бы Яров, как отпустил в свое время Македона Капустина. Хорошо этому Македону. Враг перед глазами, стреляй, иди на него в атаку. А здесь он где-то там, в развалинах, в этих домах, в этих переулках. Ходит рядом, как сказал однажды Яров, в одном трамвае, может, едет с ним, с Пахомовым. Даже спрашивает о чем-то. А ему и невдомек. Приходил с твердым решением в розыск, а там, едва он появлялся, опять кричали:

«Пахомов, ограбление в гостином дворе. Бери Джека и дуй»... И дул, то есть бежали они с Варенцовым в гостиный двор, вслед за повизгивающим нетерпеливо и люто черным поджарым Джеком.

И день за днем заполнялись страницы журнала: «На Срубной найден труп неизвестного мужчины в солдатской шинели без головного убора. Рядом разбитый стакан в крови», «На Кавказском кладбище, в сторожке, раскрыт притон. Среди посетителей известный вор-громила Васька-тетка», «Путем подбора ключей ограблена парикмахерская частного владельца Курковского», «На станции, у гражданки Свищевой, вырезан карман с кошельком. Украдено две тысячи рублей денег и метриче-

ское свидетельство дочери Свищевой», «На Подгорной улице в заброшенном колодце обнаружены три трупа»...

Происшествия натекали день за днем, как натекает телеграфная лента из работающего аппарата. Агенты розыска сбивались с ног. Отдыхали лишь в редкие вечера да по случаю каких-нибудь праздничных событий. Таким, например, праздничным событием явилось открытие первого в губернии клуба милиционеров.

Костя пришел в клуб с Канариным и Ваней Граховым. С любопытством, чувствуя какую-то торжественность, оглядывал зал: подумать только: вся милиция собралась в один раз в этот зал. Неслась разноголосица:

— Скидываю тюфяк, а там винтовка кавалерийского образца. Что ж ты, говорю, дезертирская морда, — воевать не хочешь, а оружие с собой?

— Брат Петр с петроградского фронта письмо прислал. Мол, офицерье с красноармейцами расправилось, страсти какие. Одну сестру милосердия за ноги подвесили к березе. Ну, и им спуску не будет. Так брат Васька пишет. А Васька у меня злой. Чуть, бывало, не так, выворачивает кол...

Но вот постепенно гул стих и начался вечер. Сначала с докладом выступила женщина из губкома — высокая, в пенсне, в простенькой кофте и юбке, чуть не до пяток.

Не успели затихнуть аплодисменты, как на сцену вошел другой докладчик — заведующий губернским управлением милиции. Старый седой человек с умными и строгими глазами принялся после краткого поздравления ругать милиционеров. Оказывается, много неполадок у них. Конный двор неопрятный, винтовки в губрезерве нечищенные, караулы потеряли бдительность.

А теперь за трибуну встал Яров. Он оглядел зал пристальным взглядом, заговорил, и голос дрожал:

— Слышали, наверное, все, что обнаружил уголовный розыск три трупа в заброшенном колодце на Подгорной улице. Погибли три простых человека.

Тут Яров стукнул кулаком по трибуне, уже гневно воскликнул:

— Их нельзя забывать. Так же как и погибших в уездах, так же как наших агентов Шахова и Глебова.

Как волна прокатилась по рядам, стукнули каблуки, заплескали дружно ладони. Кругом суровые лица, печальные глаза. А Шура Разузина опять заревела без-

звучно. Даже голову опустила к коленям. Это чтобы не видели ее слез.

— Работаем мы много, — продолжал уже тише Яров и оглядел зал, как выискивал кого-то. Откинул белый чубик на лбу, вытер ладонью щеку.

— Но надо работать в десять раз больше, удесятерить свои силы. Все эти банды должны получить по заслугам. А для этого не давайте уголовникам покоя ни днем, ни ночью. Правда, — хмуро сказал он, — у нас есть такие сотрудники, которые умеют служить по-казенному, по старинке. Положено, дескать, мне десять преступлений раскрыть в месяц, я их и раскрываю. А на одиннадцатое мне наплевать, пусть даже если до конца месяца осталось десять дней. Бежит вор, ну и пусть бежит. Он ведь одиннадцатый...

В зале негромко засмеялись. Костя оглянулся на Семена Карповича. Шаманов сидел сгорбившись, вобрав голову в плечи.

Когда кончил говорить Яров, в зале долго не смолкали аплодисменты, а кавказец даже погрозил кому-то костлявым кулаком. Растревожил начальник розыска всех так, что гомонили даже когда начался концерт.

27

На другой день Яров сам зашел в комнату для агентов. Поздоровался со всеми, а Косте велел идти с ним. Идя следом по коридору, глядя на узкую спину, на лопатки, выпирающие зеленое сукно френча, Костя тревожно гадал насчет причины его вызова к начальнику. Собирался ли ругать за то, что не находит пока воров, ограбивших квартиру на Федоровской, или собирался дать новое преступление?

— Вот что, Пахомов, — сев за стол, заговорил Яров и хитро подмигнул Косте. — Вчера пришла телеграмма. Центророзыск открывает в Москве курсы для обучения агентов розыска. В октябре поедешь на учебу. Всему обучат там...

Он заглянул в какой-то листок, лежавший на столе:

— И литературе, и криминалистике, и стрельбе, и даже гимнастике. Будешь ты у нас, Пахомов, самый образованный агент розыска. Ну вот. А пока решил я подымать твою культуру...

Он протянул Косте контрамарку, сказал:

— Пойдешь вечером в театр. Будешь смотреть пьесу Островского «Бесприданница». Слышал про Островского?

— Где там, — ответил смущенно, — все деньги на одежду шли, да на косы и гвозди...

— Одежда, гвозди, — добродушно передразнил его Яров. — Вот возьмешь какого-нибудь интеллигента-афериста. Он тебя красивыми словами, а ты ему, мол, у меня все деньги на гвозди уходили. Пора и нам, сотрудникам милиции, быть образованными. Вот и сходи на эту самую «Бесприданницу». Там богач меха бросает в грязь. Это для того, чтобы девушка могла, не запачкав туфель, пройти своей дорогой... Поглядишь, как это получилось...

Он критически осмотрел Костю, его запыленные сапоги, пиджак, прибавил:

— Коль галстук понадобится или рубашка — возьми у Шуры Разузиной. Она тебе и галстук повяжет. Девочка умеет это, слышал я...

Опять подмигнул и непонятно почему вогнал Костю в краску. Хотя чего бы уж там — к этой Шуре у него не было каких-то тайных чувств.

Собирался Костя недолго. Почистил сапоги, надел новую рубашку-косоворотку, да еще платок чистый подарила ему Александра Ивановна.

— Мало ли там, поплакать придется, — сказала при этом. — А что ты смеешься, — прибавила ворчливо, помешивая в чугунке пыхтящую на огне кашу. — Бывает, что и парень, а заплачет. Мой Тихон однажды раздавил птенцов в лесу, так ревел. Сидел и ревел. Правда, выпивши был крепко, на гулянье были... Да плащик бы одел. Подойдет с Тихона, вроде одного роста вы.

От плаща Костя отказался, да и напрасно. Потому что едва перешел мост, как начал цедить мелкий, точно осенний дождик.

Сразу стало пасмурно на улицах вечернего города, нахохлились прохожие, потемнели окна, стены домов. В лужах, как в осенней листве, зашумели колеса подвод и пролеток. В туманной мороси тускло блестел фонарь над дверью в театр — тяжелая дверь то и дело гулко ухала, пропуская очередного зрителя. К стенам прилипли одинокие фигуры. Около них кружили мальчишки, изредка что-то предлагая. В руке одного из них он увидел

папиросы, и, не удержавшись, ухватил его за рукав длиннополого пиджака.

— Торговать у театра запрещено, — сказал строго и ахнул, когда парнишка поднял голову. Под глубокой и мятой фуражкой увидел он зеленые глаза Зюги.

— Ты что ж, — спросил оторопело, — опять, значит, смылся из колонии. И верно — сколько же с тобой будут возиться?

— Зюгу подловили, — закричал кто-то из мальчишек, и они брызнули в разные стороны — за театр, за трамвайные пути, в переулок, начинающийся сразу же за театром.

— Откуда у тебя папиросы? — снова спросил Костя и, подтянув Зюгу к себе, ловко выхватил у него из кармана самодельные пачки с папиросами. Зюга дернулся было и пригрозил:

— Смотри, узнает Мама-Волки, он тебе задаст.

Знакомое имя даже заставило вздрогнуть.

— Откуда ты знаешь Маму-Волки? — заглянул парнишке в глаза. И, видно, в этот момент ослабил руку. Зюга вдруг рванулся со всей неистовостью, на какое был способен. Костя бросился было за ним, наткнулся на старика, завопившего на всю площадь. А Зюга ящерицей скользнул меж двумя пролетками, перебежал трамвайные рельсы и скрылся в садике за деревьями и густым кустарником.

«Бесприданница» была забыта. Костя обогнул сад, миновал переулок и очутился на трамвайной остановке. Почему-то заверил себя, что если Зюга живет на окраине, то он немедленно постарается скрыться из центра, а путь для этого один — на трамвае. И правда — среди сгрудившихся в ожидании вагона пассажиров с трудом выделил маленькую фигурку. Зюга прятался за людей, а смотрел в сад, ожидая видно с этой стороны своего врага. Смотрел он до той поры, пока не подошел, полязгивая, трамвай, и потому не заметил Костю. Запрятался где-то среди толпы на площадке, успокоившийся, наверное, окончательно.

Так, в разных концах одного вагона они доехали до вокзала. Здесь Зюга сошел и двинулся через пути. Прокатил поезд из нескольких товарных вагонов. Окутал все вокруг едким серым, как талый снег, дымом. Как бы парализовал этот дым парнишку. Долго стоял недвижи-

мым на шпалах — глядя вслед составу, о чем-то думая. Может, хотел броситься бегом за ним, ухватиться за ступеньку последнего вагона и унестись в темноту наступающего вечера, унестись навсегда из этого города, от парня в рубахе-косоворотке, напугавшего его. Теперь он ни разу не оглянулся — шел опустив голову. Наверное, с горечью размышлял, что будет говорить об отобранных на площади папиросах. Идя на далеком расстоянии, придерживаясь заборов, стен домов, Костя уже со щемящей жалостью глядел на эту сгорбленную фигуру, уныло шлепающую прямо по лужам, в опорках, в широких залатанных штанах. Может и сейчас его станут бить, не дадут есть. Один раз у него даже мелькнула мысль: догнать Зюгу и отдать папиросы. Отдать и уйти. То-то бы удивился и перепугался тот. Но шел за ним в отдалении, зорко разглядывая местность, в которую попал, — эти грязные задворки, дома, в окнах которых тускло начинали загораться керосиновые лампы, воняющие помойки, одиноких людей у заборов, подозрительно глядевших ему вслед.

Дом, в который вошел Зюга, начинал собой ряд подобных себе двухэтажных, черных от воды, домов узенького переулочка. Большинство окон были темны и лишь в дальнем углу, за кроной тополей, поблескивала на втором этаже цепочка бледных огоньков. Зюга вошел, громко хлопнув дверью, как бы этим выразив свою злость на неудачный вечер. Дверь, точно слетела с петель, начала пилить тишину тихим надоедным скрипом.

Здесь бы Косте повернуть обратно. Через полчаса весь состав Губрозыска окружил бы переулок. Но откуда ему было знать, что там, на втором этаже, за бледной цепочкой огней собралась чуть ли не вся банда Коли. Решил, что в доме живет торговка папиросами, гоняющая в город мальчишку, или на самый лучший конец пристроился Мама-Волки. Вот почему он осторожно поднялся на второй этаж — откуда доносился приглушенный говор, и остановился возле дверей, переколоченных тонкими досками. Теперь явственно стал слышен женский голос, бранивший, как видно, Зюгу. Вдруг дверь смаху отворилась, и женщина эта появилась на пороге с дымящей в зубах папиросой, босоногая, невысокого роста, в юбке и без кофты, так что были видны из-под сорочки полные груди. Увидев перед собой незнакомого человека

в свете керосиновых ламп, падающем из глубины квартиры, она растерялась и спросила испуганным голосом:

— Тебе чего, парень?

— Мне-то чего, — тоже первые попавшие слова произнес Костя и, сжимая в кармане теплую рукоять нагана, шагнул через порог в маленькую прихожую, полную одежды на вешалке и гвоздях:

— Так, посмотреть на одного мальчишку надо. Куда-то сюда он прошел сию минуту.

Она, все так же завороженно глядя на него, отодвинулась и пропустила его в квартиру. Это была большая с низким потолком комната, с пузатой почерневшей печью в глубине, с широким столом посредине, на котором блестел медью самовар, ярко горели в чашке ягоды малины, сгрудились пустые бутылки. Сбоку у дверей, так же как и женщина в дверях, безмолвно и со страхом уставился на Костю Зюга, уже без пиджака. В углу, на кровати, лежал мужчина в нижней рубахе, с короткими волосами и читал толстую, похожую на библию, книгу. За кроватью на матраце, прямо на полу спал кто-то, укрытый с головой шинелью, в сапогах гармошкой; поблескивали тускло на каблуках подковки. А за столом — вокруг самовара и бутылок сидели трое. Один толстый, с одутловатым лицом, усатый, в гимнастерке, рядом — как и на фотографии, с маленькой головой на тонкой шее, плешивый Гордо, и третий, самый ближний к Косте, собравшийся метать карты, парень в полосатой матросской рубахе, в галифе и босой. Вот он оглянулся, и Костя узнал Маму-Волки. Широкое красивое лицо, багровое то ли от жара самовара, то ли от выпитых бутылок, ровная крепкая шея, русые волосы, чубом упавшие на левый глаз. Смотрел спокойно, без тени испуга или удивления, даже с застывшей на губах усмешкой.

Зюга двинулся в глубь комнаты, продолжая неотрывно смотреть на Костю. Лежавший на кровати оторвал глаза от книги и глянул на Костю. Он и нарушил молчание, спросив отрывисто:

— Это ты кого же притащил, Зюга? Откуда он появился здесь?

Гордо рыкнул глухо, откинул рукой черную прядку со лба, а женщина проговорила испуганно:

— Где «стремщик»? Просмотрел чужого как будто.

Еще раз оглядев сидящих, чувствуя, как даже цепе-

неет от этой неожиданной встречи, Костя вдруг нагнулся к Маме-Волки и проговорил разом пришедшее на ум:

— Здравствуй, Мама-Волки. Что же ты Настю не проводил на кладбище?

— Здравствуй, — нерешительно произнес Мама-Волки, откладывая в сторону карты. — Какая еще Настя?

И вдруг руки всех сидящих за столом скользнули в карманы. В один прыжок Костя очутился возле женщины, оттолкнул ее в сторону. С грохотом пролетел по гнилым ступенькам, выскочил в переулок. Едва свернул на пустыри, как в тишине, словно палкой по частоколу, ударили два выстрела. До остановки бежал бегом. Успел к отходившему трамваю, вскочил на подножку. С трудом протиснулся к окну, вцепился в скобу. И только тут почувствовал, как дрожь пронзила все тело. Он ведь мог бы остаться там, посреди этой широкой комнаты, возле почерневшей печи. Он бы мог лежать в переулке, застывшими руками влипнув в черную грязь...

Девушка, стоявшая рядом, заглянула ему в лицо. В глазах выпуклых и редко мигающих увидел сочувствие. Словно хотела о чем-то спросить. Дрогнули ее толстые губы, попыталась улыбнуться. На голове у нее по самые глаза темный платок, одета в простенькое платьице — наверное, фабричная. Сейчас он может познакомиться с ней, проводить ее, даже поцеловать, обнимать эти тонкие худые плечи. А если бы пуля догнала его? Прижался лбом к стеклу, высматривая стремительно летящую улицу. Слабо озаренные светом окна бросались навстречу и отступали, испуганные визгом колес на поворотах, вырастали над крышами купола церквей, с веселым грохотом гнались за трамваем ломовые извозчики, с шумом волны налетела на очередной остановке толпа на вагон и опять скрипели ступеньки, качались пассажиры, гремел звонок. На площади он вышел — увидев в стекле эти крупные глаза, подумал:

«Просто было с ней познакомиться. Надо же так смотреть».

Вскоре, уже с агентами, он поднимался снова по гнилым ступенькам. Все в квартире было как и тогда — кровать, матрац, стол и на нем еще не остывший самовар, куски жареного мяса на сковородке, малина в чашке, печенье, бутылки. Валялись опрокинутые в спешке

стулья. Банда вместе с женщиной исчезла. Лежал лишь у порога на животе, раскинув ноги, с окровавленной головой Зюга.

— Недавно приблудился он к Моргалке, — пояснил Ярову один из жильцов. — Поторговывала она кой-чем и его заставляла. Вроде как на побегушках. Да еще есть у нее два мальчишки, Толька с Колькой. Нет их в доме пока, куда-то сбежали, может к пакгаузам по вагонам шарить. Тоже посылала с товаром. А какой товар, мы не знаем. Дело такое — у нее мужиков немало темных водилось по знакомству. Прирезали бы, коль интересоваться стали. Любопытных в нашем доме не любят.

Яров перевернул Зюгу, низко склонился над ним, как прислушиваясь к хриплому дыханию:

— Кто это тебя, Павлуха? — спросил участливо и с жалостью.

Зюга открыл второй глаз, не залитый кровью, осмотрел молча и агентов и жильцов, толпившихся в дверях, в коридоре. Узнал Костю и дернулся в руках Ярова, заговорил что-то непонятное.

Канарин подал Ярову бинт — он ловко и быстро перетянул голову Зюге. Потом попросил налить воды. Приподняв парнишку, чуть не силой влил воду в рот и смотрел участливо с жалостью. Ласково погладил по щеке, но ничего не сказал ему, а велел Канарину с Граховым отвезти в больницу. Жильцы, стоявшие у дверей, колыхнулись, когда Зюгу подняли, понесли в коридор.

— Чем-то тяжелым двинули, — заговорили между собой, — может, и молотком или наганом. Уж чего он им встал поперек дороги.

— А много ли и надо было. От плевка бы свалился, заморыш такой.

— Знаешь как говорят: слезала барыня с печи, а ветер навстречу...

Слова словно жгли затылок и как там, в Фандекове, грудью пошел на толпу, отступившую почтительно перед ним. В коридоре, пропахшем сыростью и затхлым, ощупью нашел для себя укромное место. Им оказалось отхожее место — маленькая будочка, в которой стоять можно было лишь согнувшись. И здесь, прижавшись к стене, заплакал беззвучно. В этих слезах было все: и горечь, и усталость от прошедших двух месяцев изматывающей работы, и жалость к расстрелянным в Фандекове, к уто-

нувшей Насте, к брошенным в колодец и к Зюге. Подумать только — сиди он сейчас и смотри на «Бесприданницу» в городском театре на этого чудака, который кидает меха в грязь под ноги какой-то, тоже видно чудной девушке и цел был бы этот парнишка, совсем недавно певший песню на пароходе про шалманы.

Сквозь щели в тонких досках слышны были голоса в коридоре, внизу на дворе повизгивал «Джек» и его о чем-то уговаривал старик Варенцов. Вот он закричал кому-то:

— Черта тут найдет собака. Видно, все в разные стороны разбежались, да и дождь. Смылись, перепутались следы. Одна грязь да вода кругом.

— Эй, Пахомов, — позвал из коридора Яров, — куда тебя нечистая сила унесла?

Костя вытер лицо рукавом и выбрался из будочки, пошел к выходу, где чернела в пляшущих языках пламени ламп маленькая фигура. Стоял Яров у лестницы в окружении толпы, с заложенными за спину руками.

— Живот, что ли, прихватило? Или пошарил, не спрятался ли кто? — спросил, когда Костя подошел вплотную. — Смылись они. Ну да, все равно ничего.

Он обнял Костю за плечи, повел вниз, жарко дыша в ухо словами:

— Теперь прояснилась зато обстановка. Они в городе, где-то захоронились снова. Значит, и продукты тоже где-то хранятся, — так я понял. Видно, ждут выгодного времени. Приказал я всем агентам выйти в ночной обход города. И ты давай, на вокзал и пути.

Он неожиданно замолчал, вглядываясь искоса в понурого Костю, спросил строго:

— А ты что скис? Зюгу жаль?.. Ну, что поделаешь, — добавил со вздохом, — повезли Канарин с Граховым, а уж кого привезут, не знаю, не ручаюсь. Пролом черепа тяжелым орудием, скорее всего рукояткой нагана.

— Уйду я. Ведь как бы не я...

— Кабы не я, — грубо передразнил его Яров. — Что кабы не ты... Твое дело очищать Советскую Республику от всякой сволочной гниды вроде Артемьева. И в этом деле не до слюнтяйства, Пахомов.

— А почему я это должен? — вырвалось у Кости. — Я бы тоже мог колеса точить или у ткацкого станка...

Яров повернул его к себе, даже в полусумраке увидел

зверский оскал на замшевом лице. Заговорил задыхающимся голосом. Казалось, сейчас прорвется этот голос на тонкий и жуткий вой:

— А почему я, простой парень-студент, должен был чуть ли не с первых дней мировой войны надеть шинель? Потому что партия послала... Потому что надо было. Почему я гнил заживо в вонючих окопах вместо того, чтобы сидеть и читать ученые книги, почему лез на проволочное заграждение под немецкими пулями?! Вся юность прошла в арестных домах, да там на фронте, да теперь на революционном посту... Не знаю, что такое женские губы, не обнимал ни одну девчонку—все потому, что как в поезде, все на ходу... А жизнь-то проходит. Моя жизнь, единственная. Потому что кто-то должен жертвовать собой ради других. Потому что не дяде заморскому, а нам самим все это надо делать, Пахомов. И если ты хочешь, чтобы победила революция рабочих и крестьян, ты должен это делать, не задавая мне больше таких слюнявых вопросов.

Он снова положил Косте на плечо руку, и они пошли по переулку к пустырю, где посверкивали выстрелами папиросные вспышки.

28

Из ночного обхода агенты привели задержанных — не имеющих документов, просто по подозрению. Камера снова наполнилась гулом, говором, смехом и плачем, руганью и даже потасовкой.

Полагалось знать, кого задержали: может, среди них попался разыскиваемый преступник. Потому Костя зашел в камеру, с порога зорко разглядывая арестованных, их лица, серые в бледном свете, брезжущем сквозь решетчатые окошки. За барьером на скамье сидели, тесно прижавшись друг к другу, два русых парня с косыми проборами, в гимнастерках. Как два солдата, вернувшиеся с войны. А на самом деле два известных вора-громилы Хобкин и Тучков по кличке «Хомут». Еще в прошлом месяце Семен Карпович отобрал у них на вокзале чемодан, в котором лежали два долота, ножевка, ключи от кладовых. Тогда отпустил их, потому что не было причины гнать в уголовную милицию.

Завидев сейчас Костю, оба вскочили, заговорили, перебивая один другого:

— Эй, начальник, за что «помели»...

— Спали, как люди.

Отмахнулся — разберутся Яров или Струнин: за дело пригнали или понапрасну. Перешагнул двух беспризорников в драных пиджаках. Уткнулись носами в пол, посапывая сладко, бормоча что-то во сне. Ноги босые, в ссадинах, лишаях подогнули, руками обнялись. Видно, два закадычных дружка. Два других беспризорника, сидя на полу, ругались злобно. И слышалось вперемежку:

— А ты у меня «рыжие бока» спер в пасху, не помнишь?

— А «шпилера» я тебе так, что ли, сунул?

Знал теперь Костя, что «рыжие бока» — золотые часы, шпилера, хемычи — это орудия воров-домушников. Еще один беспризорник, полуразвалившись, посапывая, ухватил Костю за сапог.

— Эй, парень, дай папиросу... Не получив ответа, цыкнул презрительно себе на штаны, замурлыкал песню, в которой «ехали с громки скокари, парни в лаковых сапожках»...

Открыл глаза привалившийся к стене пожилой мужик с опухшим и синим, как у задушенного, лицом, обросший бородой. Может, и просто бродяга, а может, какой бандит или белогвардеец, чтобы не опознали, нарастил волосья на щеках, на широком, как каблук сапога, подбородке.

Возле печи, на скамье, там, где когда-то сидела Нинка-Зазноба, расположились женщины, больше молодые да красивые, некоторые с накрашенными губами. Они лениво зевали и тускло улыбались, заученно щурили на Костю глаза. Руки были привычно сунуты в рукава плащей, кофт, блузок. На ногах одной из них были надеты модные туфли, как видно агенты взяли ее с какой-то пирушки. Женщины тоже оживились, увидев его, стали клянчить папиросы:

— Хотя бы одну на всех, начальничек.

Одна женщина сидела поодаль, отдельно от всех. Была в осеннем саке, кашемировом платке, ботах на босу ногу. Казалась спящей, покачивалась мерно из стороны в сторону. Костя подошел к ней, положил руку на плечо. Она подняла голову, и он увидел крупные и чер-

ные на выкате глаза, под ними вздрагивающие мешочки, пухлые, слегка подкрашенные губы. Вот так встреча!

— Здравствуйте, Инна Ильинична.

Она слабо улыбнулась, покачала головой:

— Вы ошиблись. Меня зовут Анна Васильевна...

И опять склонила голову. Костя поспешно вышел из камеры, разыскал в канцелярии Грахова, который разговаривал с журналисткой. Потерялась какая-то важная бумага. И он и старушка в очках были раздражены, недовольны друг другом. Услышав вопрос Кости, Грахов неожиданно преобразился, забыл про потерянную бумагу.

— Тут, знаешь, какое чудное дело получается. В Срубном проломе взяли мы весь этот народ, в доме Никитина. Знаешь, был постоялый двор, а теперь жильцы. Тыща человек, поди-ка, стала жить. Даже татары-землекопы живут. Шум что в кабаке. Даже баяны наяривали, это средь ночи-то. Хобкина с «Хомутом» взяли, беспризорную шатию, да женщин гулевых. Ни одна документа не держит с собой. Вот и забрали тоже, погнали на улицу. А на улице подошел ко мне старичок — такой маленький да белый, как гриб-коровка, и шепчет мне на ухо: вон из того дома в окно кто-то сиганул, в черной куртке. По забору, по забору да бегом. Неспроста что-то. Ну, махнули мы в дом. В угловой комнате женщина, та вот, про которую ты спрашиваешь. Говорит — никого не видела, спала и только. А хозяйка квартиры другое — мол, ночевал мужчина в черной куртке, в шлеме красноармейца. Назад коридором не выходил, она услышала бы, потому как бессонницей мается. Ну, опять к ней. Призналась: был любовник. Услышал, что милиция в соседнем доме, испугался и в окно. Жены боится, как бы не узнала. А кто такой, не знает, на улице с ним познакомилась. Знает, что зовут Павел, и больше ничего не известно. Самое интересное потом, — продолжал Ваня, распалившись, заволновавшись. — Сказал ей, чтобы собиралась в уголовный розыск, а она мне браслет золотой сует и еще что-то в коробке. Тут, шепчет, хватит вам на целый год. Отобрал я у нее и браслет и коробку, выгнал тоже на улицу. Уж так просто не стала бы взятку пихать, что-то не все тут ясно.

Яров тоже сразу решил:

— Раз взятку дает человек, чего-то боится. Веди-ка

ее, Пахомов, сюда. Поговорим с ней на первых порах мы сами.

Инна Ильинична покорно пошла к выходу. Смеялись, покрикивали вслед женщины на скамье:

— Помоложе бы взял, парень. Вон Катька...

Катька — молоденькая девица — скалила зубы, крутила головой с накладной косой. И снова взахлеб вслед Косте закричали Хобкин с «Хомутом», запели песню и те два, ругавшиеся до этого беспризорника, заматерился густо бродяга. В коридоре от наступившей враз тишины даже зазвенело в ушах. И тут вот Инна Ильинична оживилась. Обернулась и торопливо заговорила:

— Я надеюсь, молодой человек, что вы не обидите меня. Посочувствуйте мне: попасть в такое общество, что может быть ужаснее для культурной женщины. Меня, действительно, зовут Анна Васильевна. А Инной Ильиничной звали просто так, мои знакомые, шутки ради, что ли.

— Идите, гражданка, — попросил строго Костя, — некогда мне слушать. Работы много и без вас...

Инна Ильинична улыбнулась криво, пошла по коридору заплетающейся походкой. Того и гляди, опустится на доски пола, затертые ногами, под эти слабо мерцающие пыльные окна. И опять, уже не оглядываясь, заговорила:

— А знаете ли вы, что ваш учитель Семен Карпович взял у Артемьева золотые кольца. Его выпустил на свободу, а кольца себе. Да его ваш суд расстреляет сразу же, как узнает. Я могу рассказать об этом, если вы не промолчите. Как вы будете жить потом, когда Семена Карповича не будет на свете. Совесть замучает...

— Идите, гражданка, — снова упрямо повторил Костя и подтолкнул ее в спину. Она посмотрела на него умоляющим и злым взглядом, в глазах блеснули слезы. Но вот резко повернулась и уже решительно и быстро пошла по коридору. В кабинет Ярова вошла уже другая женщина — гордая и надменная. Села в кресло рядом со столом, взяла папиросу, предложенную Яровым. Раскурила неторопливо, выпустила клуб дыма и стала в упор разглядывать Ярова. Тот покраснел чуть и, чтобы прогнать это смущение, усмехнулся, склонил голову:

— Ну, так рассказывайте, Инна Ильинична, что за человек был у вас в гостях, в черной куртке.

Она ответила спокойно и твердо:

— Меня зовут Анна Васильевна. Это указано в документе, который отобрали ваши люди. А ночевал у меня случайный знакомый. Я познакомилась с ним возле трактира. Очень интересный мужчина, неотразимый, влюбилась, едва увидела. Пошла бы за ним на край света.

Она явно издевалась. И даже кривила губы и сажала в Ярова струю за струей табачного дыма. Тот улыбался и кивал головой, как доверял ее словам. Спросил вежливо:

— Конечно, это был не Сеземов. В дальнего родственника есть ли смысл влюбляться...

Вот теперь стало ясно, что женщина пыталась бодриться, пыталась играть роль безразличной. Как-то сразу понурилась, согнулась, ответила глухо:

— Нет, конечно, это не Сеземов был. Того я давно не встречала.

И придавила папиросу с силой о пепельницу, прикусила вдруг губу, как боясь расплакаться. Яров вышел из-за стола, аккуратно загоняя гимнастерку под ремень. Обошел Инну Ильиничну и остановился возле Кости.

— Ты, Пахомов, можешь идти. У нас разговор долгий, он еще будет продолжен в Чрезвычайкоме. Там давно хотели с нашей знакомой повидаться да потолковать...

В ответ звонко щелкнули пружины кресла, в котором сидела Инна Ильинична. Уткнулась лицом в локти, зарыдала глухо.

29

Конец августа был тревожный. Горели железнодорожные мастерские, подожженные контрреволюционерами, уезды со страхом ждали появления новой банды во главе с унтером царской армии Иваном Решко, затопила губернию волна самогоноварения, проституции, беспризорности. И не выходила из головы история с Инной Ильиничной. Шел ли в губрозыск, сидел ли за разбором какого-то нового преступления, слушал ли лекцию работника губкома партии; стоял ли в очереди в милицейской столовке за котелком супа из пшена, так называемого «кандёра», ждал, что вот сейчас кто-то скажет торопливо:

— Ребята, арестован Шаманов. Преступление по должности.

Но никто не говорил таких слов. И сам Семен Карпович, как всегда, приходил на работу, командовал, покрикивал, хотя знал, что Костя арестовал Инну Ильиничну. Будто ничего не случилось.

А тут еще вызвали в Чрезвычайком поздним уже вечером. В небольшой комнатке, тускло озаренной электрической лампочкой, было трое. Впервые близко увидел председателя губчека Агафонова. Он стоял у круглого камина, заложив за спину руки, словно грел их. Четко выделялись запавшие скулы, широкий лоб. Запрокинул голову с коротко остриженными волосами, прижался затылком к камину, будто тоже грел или разглядывал потолок старинного особняка, исчерченный лепными квадратами. Оглянулся на вошедшего Костю, двинул широким плечом, поправляя наброшенный поверх пиджак.

— Проходи, Пахомов, и садись.

За круглым, на тоненьких ножках столиком, сидел молодой мужчина в гимнастерке с расстегнутым воротом и в красноармейской фуражке с красной звездой. А на стуле возле зарешеченного окна—согнувшись, исхудавший до неузнаваемости Сеземов. Вот он поднял голову, вытянулись еще больше плоские черные от щетины щеки. И опять уставился в пол, выложенный паркетными плитами. Кажется, не удивился ничуть.

— Смотри-ка, Пахомов, — проговорил Агафонов осипшим голосом,—ангел какой сидит. Только крылышки ему прицепить к лопаткам и вспорхнет в райскую обитель. Взяли его вчера в Рождественской церкви. Прятался в чулане, а по соседству в тайнике, в гробах пустых оружие — пистолеты, да браунинги, да гранаты. А он говорит, будто ночевать зашел к попу, мол, негде ему голову прислонить стало, как дезертировал из полка, да из командиров санитарии. Бывший царский поручик и вдруг взялся ухаживать за больными красноармейцами. От радости, значит, решил господин Сеземов послужить верой и правдой революции. Говорит, плохо чувствовал себя, вот и ударился в дезертиры. Простить просит. Мол, завтра же поедет на фронт.

— Так кто такой был у Инны Ильиничны в гостях в черной куртке и красноармейском шлеме? Кто? — вдруг сразу изменившимся голосом угрюмо спросил он.

— Скажешь ты мне или нет, белогвардеец?

Стул скрипнул.埃Сеземов еще ниже пригнул голову к коленям, потер ладони рук.

— Я не знаю... Какая-то нелепость, уверяю вас...

— Не знаешь...

Агафонов опять обернулся к Косте:

— Оказывается, он и Озимова не знает.

Сеземов снова пригнулся на стуле, заговорил торопливо:

— Верно, был я в Фандеково. Чего уж там... К отцу ехал в Ануфриево, а тут эта банда. Да прямо в избу, где я остановился, к Игнату Кривову. Вот тут и увидел меня ваш работник, — кивнул он головой на Костю. Только поимейте в виду, что я сохранил жизнь вашему молодому человеку дважды. Там, в Фандекове, спас от этих вандейцев и здесь, в городе, мог бы уложить... Я кровопролитием не занимаюсь...

— Поимеем в виду, — оборвал его Агафонов, — а с Инной Ильиничной только, значит, любовная связь. Еще с мировой войны, значит, с преферансов. А как она в Срубном очутилась, тоже не знаешь? И кто такой человек в черной куртке?

Тут Агафонов швырнул пиджак на диван. Щелкнувшая пуговица заставила подскочить Сеземова. Он оглянулся — глотнул судорожно, забормотал:

— Ну, ей богу... Кто это такой человек? Ну, мало ли там у нее знакомых. Мало ли там... Мало ли...

Уже как помешавшийся начал повторять он. Замотал головой. И шептал:

— Замучался я. Кошмары по ночам... И эти люди, которых уводят по ночам из камеры...

— Кто такой человек в черной куртке?

Агафонов остановился возле уткнувшегося в ладони лицом Сеземова, смотрел долго на вздрагивающие оттопыренные уши. Вернулся к камину.

— Артист ты еще вдобавок, — сказал насмешливо. — Артист Сеземов. Хоть пиши на афишу и к театру... Только Инне Ильиничне ты прислал того человека. Я верю, что она ничего больше не знает. Спекулянтка, барыня, которой хорошо поесть да поспать. За это она хоть с кем ляжет в кровать. Хоть с чертом. Лишь бы он попоил да покормил.

Тут он почему-то приветливо улыбнулся Косте.

И мужчина, слушавший молчаливо все это время, обнажил белые зубы и впервые двинулся. Положил на стол руки, негромко спросил:

— Артемьева вы тоже не знаете, Сеземов?

Сеземов поднял голову, пожал плечами.

— Я вас не понимаю... — пробормотал он. — Вы меня в довершение ко всему еще и на одну доску с этим налетчиком.

— Там мешок муки нашли, в церкви, — продолжал спокойно мужчина. — И браунинги. Из такого вот браунинга стрелял Артемьев в сотрудников милиции Шахова и Глебова. Не в этой ли церкви ему дали, взамен на муку, или еще на что...

— Я там только ночевал, — устало ответил Сеземов. — Мышей много да крыс в подвале — спать не давали. Их мне тоже за преступление припишем.

— А припишем мы тебе, Сеземов, — сказал повеселевшим голосом Агафонов, — еще бывшего следователя господина Казюнина... Да-да, — добавил он, насмешливо глядя на обернувшегося тотчас же Сеземова. — Уж его-то ты знаешь... и в преферанс играл вместе и в биллиард в «Царьграде», да и Инна Ильинична обоим близка. Позавчера арестовали Казюнина в Сухаревском проломе, знаете, наверное, такой домик неприметный возле бани. Банщик еще там жил, а теперь склад оружия... Даже бомбометы и траншейные пулеметы Сент-Этьена были прихоронены. Там и Казюнин жил-поживал... Так что с другого конца, но придем мы к черной куртке, Сеземов.

— Хорошо, — вдруг проговорил вяло Сеземов и опять потер ладони рук. — Только завтра утром — до утра дайте побыть одному да подумать...

— Надеешься, белогвардеец, — жестко сказал Агафонов, — дескать к утру Мамонтов прискачет в город и освободит. Далеко еще Мамонтов. Отсюда за ночь не доскачешь, разве что на сказочных конях. А сказки, господин Сеземов, только в книжках, да тем более, что вчера целый эшелон коммунистов поехал встречать Мамонтова пулями. Так что можешь побыть один. Посмотрит охрана за тобой внимательно, чтобы не учудил ерунды какой на постном масле. Уведи его, Васильев.

Мужчина поднялся и Сеземов встал, оглянулся на Костю. Хотел сказать что-то, да лишь махнул рукой, качнулся к двери по-пьяному.

— Понимаешь какая тут история, — сказал председатель чека, когда они остались вдвоем в комнате. — Кто этот человек в черной куртке — надо разгадывать. Ну, ладно — и на том спасибо розыску. Она это указала на попа в Рождественской церкви. Вот и накрыли мы там Сеземова. А черную куртку не знает.

Он протянул тяжелую ладонь, другой рукой похлопал Костю по плечу.

— Молодцом. Артемьева теперь ищите. Он связан с подпольем офицерским и наверняка. Видно, офицеры пообещали ему взамен за помощь свободу, может даже посты какие-нибудь посулили в случае если к власти придет сюда Деникин. Артемьев и соблазнился. Ведь по нашему приговору он объявлен вне закона со своими дружками и кроме пули ничего не заслужит... Так что все спасение у него теперь в этой белогвардейской заразе.

Он сам проводил Костю до красноармейца, охранявшего вход в Чрезвычайком и долго возвышался рядом с ним в проеме подъезда.

30

Однажды Яров приказал Косте идти с ним на Мытный двор. Зачем — не пояснил. Решил задержать для дознания вот эту пожилую торговку, крестьянку с бидончиком постного масла, или румянощекого старичка с горкой огурцов, разложенных прямо на земле на тряпке? Или хотел установить наблюдение за парнем в холщевом картузе с фиолетовым синяком под глазом, небритым и мрачным? Парень мешал деревянной ложкой сметану в глиняном горшке и зорко посматривал на крутившихся возле стола, что комары над бочагом, трех беспризорников.

— Кому творогу, кому творогу! — весело покрикивали торговки.

— А вот яйца, а вот яйца, — доносилось с другой стороны.

— Ягоды, ягоды. Покупайте малину, граждане, — звали женщины с лукошками у ног.

Над базаром стоял гул, прерываемый время от времени стуком колес, ржаньем лошадей, пронзительными

криками, топотом убегающих с добычей беспризорников. Стоял в воздухе терпкий аромат сена, кож, колесной мази, кислого молока, мокрой овчины. Людей было много, но большинство слонялось так, от нечего делать. Глазели жадно на продукты, ругали продавцов за дороговизну. Торговцы огрызались, поругивали городских, которые «рады только есть да пить».

Яров остановился возле крепкого краснолицего мужика с буханкой хлеба в руке. Возле него тоскливо переминался с ноги на ногу высокий парень в гимназической фуражке, очках, с испитым болезненным лицом. Монотонно выпрашивал:

— Дай корочку, дядя... два дня не ел. Дай корочку...

— Много вас тут ходит на корочку, — отрезал равнодушно мужик и глядел сквозь парня на толпу, выискивая нужного покупателя. — Вот гони сахар, тогда хоть всю буханку отдам...

В толпе недовольно гудели. Того и гляди, вырвут у мужика хлеб, а самого отколотят. Видя на себе злые взгляды, мужик ежился. Сам, наверное, не рад был, что вышел на торговлю. Парень побрел прочь, спотыкаясь, сгорбившись. Какая-то женщина догнала его, сунула ему в руку кусок хлеба. Он, не поблагодарив ее, торопливо и жадно впился зубами в корку, даже головой затряс от наслаждения.

Яров вздохнул шумно, отошел. Остановился возле торговки яблоками. Приценился, купил десяток — мелких, румяных, источающих сладкий нежный запах, посовал в кулек из газеты, передал Косте.

— Держи крепче... А то выхватит беспризорник у агента розыска.

И опять не сказал, зачем эта покупка. Теперь стал перебирать вареные яйца. Покрутил их, постукал осторожно. Наконец, отобрал пять штук и тоже положил в кулек. Вот только после этого, расплатившись с торговкой, сказал:

— Ну, а теперь поедем в больницу к Зюге...

Хитро поглядел на Костю, засмеялся, увидев на его лице удивление. А заговорил — в голосе было внушение и строгость:

— Тебе самому бы догадаться надо было, Пахомов. Мальчишку стукнули бандиты, мальчишка один, никого нет у него сейчас в городе. Что молчишь?

Костя выпалил то, что думал сейчас:

— Уж Семен Карпович не пошел бы...

— Не пошел бы, — согласился Яров, — это уж точно. У них, у старых агентов, принцип один. Если вор, лови и сажай в тюрьму. Дальнейшая судьба их не касалась. За это они деньги получали, у нас с тобой время сейчас, Пахомов, другое, революционное и советское. Революция идет ради нового человека и ради таких вот, как Зюга. Мы должны с тобой не только ловить и сажать в тюрьму, но и ковать из них борцов, трудовых людей... Понял? А раз понял — едем в больницу...

Больница была на окраине города — высокое из красного кирпича здание. Они поднялись на второй этаж, получив разрешение, прошли в палату. Здесь в ряд стояли десятки коек. С подушек смотрели на них больные — с желтыми лицами, молчаливые, с любопытством и равнодушием в глазах. Пахло иодоформом, кто-то стонал, кто-то в бреду ругался последними словами. Около него склонились сестры милосердия, держали за руки, что-то говорили негромко, утешали.

Зюга лежал в дальнем углу, возле окна. Руки выложил поверх одеяла. Он слабо улыбнулся Ярову, на Костю глянул мельком и сердито сдвинул брови. Нос у него заострился, глаза запали в два черных ободка. Как черная стружка вились на потном лбу вихры волос.

— Здравствуйте, Павел, — проговорил Яров, подсаживаясь на край кровати. — Вот навестить решили. Отец у тебя погиб в мировую войну. Сестры разъехались, не до братца младшего...

Зюга улыбнулся растерянно:

— Кто это вам рассказал про меня, — тихим голосом спросил удивленно. Яров развел руками:

— Да видишь ли... На тебя не одно дело у нас. Поглядел, вот и все. Простой фокус...

Зюга попытался сесть, но Яров осторожно положил его.

— Нельзя тебе еще двигаться. Так и врач сказал. Спрашивали мы у него. Через недельку выпустят в сад, а пока лежи.

Вошли две сестры, привели под руки старика. Шел тихо, постанывая, с трудом сел на соседнюю кровать. Зюга сразу погрустнел:

— От тифу увезли вчера с этой кровати дядьку. Как

повезли его, так ли я плакал. Мать потому что вспомнил. Она ведь тоже от тифу умерла. Тогда вот на воле слезинки я не уронил. А здесь — сам не знаю с чего: так ли ревел. Под одеялом укрылся, чтобы никто не видел и ревел. Все припомнил. Как жили с матерью у речки за городом, за станцией. Как коза была у нас и поила мать меня козьим молоком. Принесет полную кружку, кусок хлеба положит. Пей, мол, Паша...

На глазах у него блеснули слезы. Яров поспешно зашуршал кульком, высыпал на тумбочку яблоки, яйца:

— Вот подзаправься. Знаем, хоть и кормят здесь белым хлебом, как аристократов каких, так ведь не часто и не помногу. А тут яйца — они для больного первое дело.

Зюга осторожно покатал яблоко, а в руки не взял. Вдруг улыбнулся:

— Помню, на станции мы целый ящик засадили у одного барыги. Вот уж поели. Даже кидались друг в друга...

— Давно ты так-то вот? — спросил Яров. — Ну, с ворами?

Зюга насупился и тут же открыл опять в улыбке редкие зубы:

— Лет шесть. Как остался один, так много я голодным был. Сестры кормили плохо, им самим бы как прокормиться. А я сам по себе. Один раз на вокзале сидел возле кассы, а тут дядька, такой интересный, в шляпе, с тростью. Поглядел на меня, позвал с собой. Пошел я с ним. Накормил он меня, напоил сельтерской водой. Ночевать уложил. А потом учить стал, как пролезать в форточку. Квартиру мы с ним потом очистили, за милую душу. Потом еще одну. Добрый был. Одел меня—в штаны, в пиджак. И кормил колбасой всякой, и малороссийской, и языковой, даже винца наливал бывало. А потом свою любовь, ну женщину, зарезал у меня на глазах. Как чикнет ее в грудь...

Зюга взял яблоко, вгрызся в него зубами. Зачмокал и как бы забыл про гостей, стал разглядывать сидевшего на койке нового больного—старичка.

— Ну, а дальше что? — спросил Яров. Зюга махнул кулаком с зажатым в нем яблоком:

— И опять я один остался. Хозяин удрал куда-то. Нашли или нет — не знаю. Я тоже дал дралу. Оставил эту

бабу одну с ножом. Ну, не забыть... Перед революцией было это.

Зюга покачал головой. Яров оглянулся зачем-то на Костю, нагнулся к парнишке, пригладил на его лбу кольца волос:

— Как у Пушкина. Ты такого поэта слыхивал?

— Ну, как же... Про балду мне читал стихи Иван Петрович. Вор-вор, а книжки читал. Вечером закурит папиросу, халат наденет, колпак, лампу зажигает с абажуром. Все чин-чином. Как все равно доктор какой и не догадаешься...

— А потом к кому ты попал?

Зюга, услышав этот вопрос, помрачнел. Подвигал губами, вроде хотел сплюнуть на пол сердито:

— А опять один все. То на станции в вагонах пустых, то в милиции, то вот у вас. Меня все «собаки» знают... — добавил с гордостью.

— Это, значит, агенты розыска «собаки». Ну хорошее ты им имя придумал.

Зюга сконфузился, промямлил:

— Так уж зовут все. Ну и я...

Бросил огрызок прямо на пол.

— Вот это уже не дело, — рассердился Яров. — Заверни в следующий раз в газетку да попроси, чтобы сестра вынесла в мусорный ящик.

Он поднял огрызок, завернул его в оторванный кусок газеты:

— Зря это вы, — проговорил растерянно Зюга, — я и сам бы мог.

— Ну, в следующий раз сам и сделаешь. А пока учись, раз я здесь около тебя. Вот поправишься, мы тебя устроим на работу. Хватит тебе от протокола к протоколу. На автомобильный там или на «Вестингауза». Или на паровозный завод.

— Я бы в пекари, — пожелал Зюга. Он облизнулся, прибавил:

— Напек бы булок и первый стал бы их есть...

— Ну, и в пекари поместим. Вот поправляйся только быстрее.

— Спасибо, — тихо и искренне проговорил Зюга. — А как вас зовут? Фамилию-то знаю. Все наши знают. А вот имя нет...

— Зови дядя Ваня.

— Спасибо, дядя Ваня, — опять тихо проговорил Зюга. Яров поднялся, расправил привычно ремень под гимнастеркой.

— Ну раз заработали мы спасибо, — шутливо сказал он, — тогда пойдем. Пора и нам на свою работу...

Он пожал Зюге руку, Костя тоже кивнул парнишке. Но едва отошли от кровати, как послышался слабый голос:

— Дядя Ваня...

Яров вернулся к кровати:

Зюга пристально смотрел на него, приподнявшись на локте. И в запавших глазах удивление менялось с испугом, недоумением:

— Вы меня не допрашиваете. Всегда ведь допрашивают. Не зря приходили.

Яров улыбнулся, пожал плечами:

— Видишь. Хотелось бы поговорить с тобой кой о чем. Да больной ты, поправляйся. Потом сам, без подсказки, нам расскажешь. Понимаешь, что на свободе те, кто тебя саданул револьвером по голове без всякой жалости...

— Это он, Мама-Волки, — угрюмо проговорил Зюга. — Закричал на меня. Мол, я «сука». И слова мне не дал сказать, как шаркнет. А ведь любил я его. Таким как он хотел быть, настоящим «жиганом».

Добавил, заискивающе глядя на Ярова и на Костю:

— А где они теперь, не знаю. Тетя Мария меня на эту работу взяла: торговать папиросами. Вот тут и увидел я Маму-Волки. Ну и дядю Колю. Тот молчит всегда. А дядя Казимир с картами. Ловко играет, кого хошь высадит, разденет. И уж потребует свое. А то из нагана. Он у него под ремнем, справа...

— Может, ты извозчика знаешь, который знаком этим громилам?

Зюга ответил тут же:

— Как же. Дядя Силантий приезжал один раз к дому, привозил, что не знаю. Знаю только, что пили они вино и о чем-то толковали потихоньку. А у дяди Силантия дочь есть, Настя. Красивая...

Он вздохнул мечтательно.

Как видно, еще не знал беспризорник о судьбе Насти.

— А где он живет, этот дядя Силантий?

Костя, оторопевший от признания Зюги, не успел сказать первым. Зюга махнул в его сторону рукой:

— А вон где они живут с этим утконосом. Возле дома «сыщиков». Знаю—как же. Мы там часто на берегу костры жгем, да и ночевали не раз. А Настька мимо ходит. Ходит мимо нас и не боится. Даже в полночь, бывало. Идет, стучит каблуками. Красивая, — повторил он задумчиво. Яров обернулся к Косте — зло посмотрел на него и снова наклонился к Зюге.

— А лошадь у него какая? Вороная или гнедая?

— Да вроде такая бурая, что ли. Или коричневая. Ну вот вроде как кофе густо заваришь. Сперли мы как-то из лабаза несколько банок, варили на берегу на костре. А дядька Силантий потешный, боится всего. Мы у его лошади на леску с хвоста резали, так он даже кнутом нас не стегнул, боится, как бы мы его дом, что ли, не сожгли. Только крикнет как на лошадь: но-но...

Зюга изобразил, как Силантий машет рукой, и опять улыбнулся, да вдруг устало облизнул посиневшие губы, откинулся на подушке...

На улице уже Яров сказал задумчиво: — У паренька есть еще человеческое в душе. Раз по матери плакал.

Он посмотрел на Костю.

— А вы что же, в одном дворе живете, может, с бандитами. Чаек попиваете с Шамановым и не ведаете, что в другом окне тоже чаек попивают объявленные вне закона... Ты вот что, — приказал, посмотрев на карманные часы: — Иди и наблюдай за домом Силантия. Придем в десять вечера с обыском, встречай нас. Коль надо будет, стреляй. Да, а Шаманову пока ничего не говори.

31

Ехал в вагоне трамвая, шел мостовыми, переулками, щуря глаза от порывов гибкого ветра, вздувающего тучи пыли, выгоняющего из дворов и окон домов едкий запах карболки, печного дыма.

Он прошел мимо трактира «Орел» — в глубине увидел головы, руки, сжимающие стаканы. Мелькнула фигура Ивана Евграфовича, с улыбкой несшего на подносе чайники. Значит, какие-то важные люди для него сидели сейчас за столом, может за тем же, где они сидели.

— Арестуют когда-нибудь его, — подумал, — а он ска-

жет на суде, что у него бесплатно пил вино и чай с настоящей заваркой агент розыска Константин Пахомов. Берите его тоже и судите за связь с уголовным миром, заслужил кару...

От этих мыслей ему стало как-то не по себе. Возле «дома сыщиков», на улице остановился на минуту. Ветер дергал кусок обломанной кровли. Как крыло подбитой птицы, подымалась и опускалась она в небе. Пустынно и нелюдимо смотрели ряды окон.

В конце улицы кто-то выехал на подводе. Костя подумал, что это Силантий, и быстро скрылся в крыльцо, успев зорко оглядеть и каретник, и дом в углу двора, и сарай, примыкавший к дому, крытый щепой, с «козлами» для пилки дров возле ворот, зимними санями, прислоненными к стене.

На столе лежало письмо, первое письмо для него. Разорвал конверт, склеенный из старой газеты, прочитал:

«Хоть бы прошел по селу, посмотрела бы издалека и то рада».

Отложил листок бумаги. Вспомнился этот июльский вечер, грачи в ветвях, солома под ногами и Марьины босые ноги, шлепающие в густой и горячей, как зола из печи, пыли, ее припевка:

Я любила Мишу-ту
За рубашку вышиту...

Был полдень, когда он пристроил стул в углу своей комнатки. Уже через пару часов зарябило в глазах от кирпичей каретника, досок забора с обломанными наконечниками. Закрывал веки на миг, а не уходила прочь дверь, обитая черной клеенкой, видное наполовину крыльцо, на высоких столбиках, как все равно мостики, с которых деревенские женщины полощут белье. Неслись над двором белыми пуховыми подушками облака, обгоняя одно другое. И все туда, за станцию, к Фандеково. Глядеть, как сушатся в овинах снопы, как подосиновиками горят осиновые поленья в поленницах, как бродят по лесным тропинкам грибовики, как скачут верховые из сельсовета или со станции с поручениями к сельчанам, как режет хлеб мать на своей полосе и как идет селом, закидывая горделиво голову, Мария...

Открылась дверь в доме Силантия и на крыльцо вышла Ольга с сумкой в руке. Шагнула с крыльца и пропала за углом «дома сыщиков». Похожа чем-то она на

Марию — постарше только ясное дело, да и ростом пониже. А волосы такие же, походка как у Марии, грудь колышется, играет зубами, как дразнится.

Вскоре же вернулась Ольга. За ней прошел с улицы в дом сам Силантий. На крыльце, прежде чем открыть дверь, огляделся. А что оглядываться, если ничего человека не беспокоит. Закрывая дверь, снова оглядел Силантий двор, как будто кого-то ждал или же опасался кого-то.

Может, и правда кто-то прячется у Силантия. Вон как навострился сразу Яров. Сразу и обыск наметил, и его посадил сюда. Надеется, значит, кого-то выловить.

Костя снова увидел, как наяву, этого человека с чубиком белых волос на лбу, поскрипывающего сапогами по кабинету, где портрет Ленина на стене, где телефон, где этажерка. Наверное, сейчас советуется с инспектором или с Павлом Канариным. А то и в Губком партии звонит или даже Агафонову докладывает о том, что извозчик Силантий встречался и о чем-то шушукался с Мамой-Волки и что возит он кирпичи от станции на лошади гнедой.

Разные они с Семеном Карповичем. Шаманова боятся жулики, а он никого не боится вроде бы. Вон как рассказывал Иван Евграфович про шалман. Будто и не моргнул глазом Семен Карпович. И еще где-то на него с ножом напали, да увернулся. Какой-то сапожник в него колодкой запустил и тоже увернулся Семен Карпович. А совсем недавно письмо прислали. Читал его всем сотрудникам Яров на летучке: «Уберите Шаманова, господин Яров, а то ему саван на днях. И «перо» есть для него, и пуля».

Посмеивался Семен Карпович, слушая это письмо, потом сказал:

— Мне за свою службу тыщу раз грозили. Да вот ничего, целехонек. Коль от угроз убегать агенту, так шпана живо разгонит уголовный розыск...

Многим в розыске нравится Шаманов этой вот смелостью, своей опытностью, своими шутками. Яров — тот другой. Вроде и не похож он на начальника, как будто какой служащий из союза потребительных обществ. А вот уважают тоже его в розыске. И шпана даже уважает. Нинка-зазноба вон как рассказывала про него. И Зюга...

Вспомнился тут Зюга на больничной койке, его слабый голос. Робкая улыбка. Хитро с ним Яров поступил. Ничего расспрашивать не стал, так тот сам заговорил. А ну-ка начни с допроса, может быть и промолчал Зюга, или как ему, Косте, там, на пароходе, нагрубил бы да «собакой» обозвал. А потом бы запел песню. И незаметно для себя Костя тихо запел:

Куда пойдешь и где дадут
Вору бездомному приют
В шалмане, в шалмане...

Почему-то теперь вместо пустынного двора привиделся клуб милиционеров и тот певец с черным бантом под подбородком. Только лицо у него было Зюги. Стоит Зюга и поет под тихий плач скрипки. А сзади будто бы даже Семен Карпович шептал с завистью:

— Все же Яров вывел в люди Зюгу. Человеком сделал...

Кто-то, прервав мысли, вошел на крыльцо, тяжело стал подыматься по лестнице. Он, Семен Карпович. Сейчас откроет дверь, повесит фуражку на крючок, перекрестится на иконы, облизнет губы и скажет Варваре, наверное:

— Ну-ка, Варвар, неси что есть для православного человека...

Нет, разные они все же. И коль идти если с Семеном Карповичем, вечно будет это вот: двор, пропахший перед дождем гнилым мусором, скрипучая лестница, иконы, воры, брань женщин. Идти с Яровым — встретить новых интересных людей, увидишь новые города, какая-то ждет другая жизнь их, агентов розыска.

Помотал тут Костя головой, прогоняя наплывающие в глаза видения неведомой и необыкновенной жизни. И опять потянулись длинные, как версты, минуты. Опять лишь стена каретника да крыльцо, на которое никто не хотел ни подыматься, ни выходить. Раза два, не выдержав, вскакивал, принимался ходить из угла в угол. Все его теперь раздражало: и скрип половиц, и тиканье стенных часов, и звон посуды в буфете от его топанья, эти сундуки, стулья, стены, окленные обоями, потемневшие повсюду, продранные кой-где. Тянуло из протопленной печи похлебкой из воблы. Хотелось есть, а надо было ждать Александру Ивановну.

Чудилось какое-то движение во дворе, похожее на стук, на скрип шагов по песку, хруст копыт силантьевой лошади, и бросался к окну, охваченный волнением. Никого не увидев, бессильно валился плечом на стену, с наслаждением и поспешно закрывал глаза, погружаясь на минуту в сладостную полудремоту. Хотелось заснуть, глаза слипались от напряжения. А тут еще поползли во двор сумерки. А с ними привычно двинулись в «дом сыщиков» жильцы — захлопали двери, заскрипела лестница, заскрипели доски на потолке под грузными шагами соседки, какой-то конторщицы. Стали просачиваться голоса, потянуло чем-то съедобным, наверху грохнулось что-то, наверное, рассыпались из чьих-то рук дрова. Чья-то тень проплыла за стеклом. Это Николай Николаевич пошел за ворота с ведром. Наверное, послала его жена за водой из реки или же на колодец, где он играл в городки с мальчишками.

И уже загорались керосиновые лампы, а то и свечи. Окна соседних домов заплывали желтизной. Упали в огороды, как ножницами вырезанные, светлые круги, в небе заблистали звезды. Вот здесь, в какой-то момент, Костя не выдержал. На минуту прислонился лбом к оконной раме и закрыл глаза, забылся коротким тревожным сном. Спал, но слышал скрипучий звук, тяжелые шаги с подшаркиванием, и рука легла ему на плечо, тряхнула. Вскочил, как ошалелый, собираясь увидеть карие глаза под нахмуренными бровями, тонкие бескровные губы, фуражку с инженерскими молоточками. Но увидел сухое лицо Александры Ивановны. Не сняв своего длинного пальто, платка — стояла она около него и осуждающе качала головой.

— Спишь, Костюха, а двери открыты. Неровен час забежал бы жулик и унес, что приглянулось. Хоть и не ахти барахла, а наживала...

— Уж и сам не знаю, как получилось, — стал оправдываться торопливо. — Только что пришел, да притомился видно.

Про себя подумал: «Ну-ка, Яров бы увидел».

— Закрыл бы двери и спи на здоровье, — наставительно проговорила Александра Ивановна и пошла в свою комнату, расстегивая на ходу пуговицы пальто. — На базаре была — картошки там навезли много. Все полегче будет теперь. Пришла домой, вхожу — батюшки

мои — с сыщиком живу, а обокрали бы. Ну, виданое ли это дело. Пальцем бы показывали на меня...

32

К десяти отправился встречать Ярова на край улицы. В бурьяне, хрустящем как солома, отыскал удобный валун и присел. Ледяной холодок камня охватил тело и тем острее стало ощущаться дыхание вечерней реки. На другой стороне город подымался в небо диковинными холмами. Когда луна уходила за облака, похожие на завитки овечьей шерсти, город становился черным. Черным и вымершим. Но вот снова невидимый маляр огромной кистью смаху проводил по стенам домов и монастырей, башенкам церквей, крышам, аркам ворот — и тогда все блестело, сияло, переливалось. Тогда ложились на воду молочного цвета круги, вырезались четко из мрака лодки и застывшие фигурки рыбаков, даже можно было различить синий пар табачного дыма. Испуганно крикнул со станции маневровый паровоз. Эхо утонуло в воде, затаилось в бурьяне, в огородах.

Было спокойно, под стать сельской тишине, и Костя с какой-то опаской и напряжением ожидал, что вот сейчас там, на мосту, звонко запоет под каблуками деревянный настил, запоет и с грохотом расколет тишину. Но Яров появился совсем с другой стороны, от фабрики.

— Ну как? — негромко спросил он, едва не бодая козырьком своей инженерской фуражки.

— Да вроде бы кто-то есть, — поднявшись с камня, тоже вполголоса ответил Костя. — Оглядывается Силантий, когда в дом заходит. Неспроста, наверное...

— Неспроста, — как-то радостно согласился Яров, — что-то неладное.

— Наверное, неспроста, — тоже проговорил и Ваня Грахов. С ними пришли Петр Михайлович, три милиционера — все в шинелях, папахах, с винтовками в руках. Все трое похожие один на другого — худые, с черными лицами, молчаливые.

Они двинулись вдоль заборов в полной тишине. Лишь раз звякнул приклад винтовки у кого-то из милиционеров. Шмыгнул носом звучно Ваня Грахов да шепотком один из милиционеров высказал удивление насчет того,

что ни одна собака не тявкает. Уж вроде бы они должны учуять чужих на улице.

— Какие тут собаки, — негромко сказал Петр Михайлович, — передохли поди-ка...

Только во дворе «дома сыщиков» тревожно забилось сердце у Кости. Только сейчас, хрустя песком, подумал о том, что в доме может ночевать сам Артемьев. Поднявшись на крыльцо, Яров приказал Петру Михайловичу и милиционерам:

— Давайте к сараю и каретнику, а мы в дом.

И постучал рукоятью в дверь, а постучав, приложил ухо к замочной скважине, прислушиваясь чутко. Ответила долгая тишина. Выплыла снова луна, озарила «дом сыщиков», каретник, огороды, уходящие к реке темными оврагами. На той стороне загрохотали колеса подвод по булыжнику — или везли продовольствие для красноармейцев, или отправился на станцию к санитарному эшелону транспорт.

Яров постучал еще раз, теперь что есть силы, как вколачивая гвозди. При этом тихо пробормотал ругательства. Вот теперь за дверями послышалась возня и голос Силантия с тревогой спросил:

— Кого там принесло?

— Из угрозыска, — закричал Яров. — Отворяй живо. С обыском.

Силантий помолчал, как будто ему перехватило сразу горло от испуга. Слышно было, как скрипят доски в сенях. Потом проговорил нерешительно:

— А ордерок на обыск есть у вас? Мало ли, может быть вы грабители...

— Найдем и ордерок, — опять нетерпеливо закричал Яров. — Не тяни время, а то выломаем дверь. Это нам недолго, да не хитрое дело...

— Одну минутку тогда, — попросил Силантий, — мне надо одеться.

Яров снова прижался ухом к бревну. Костя последовал его примеру и услышал в доме беспорядочную возню, голоса и быстрый стук о стену.

— Кто-то ночевал, — удовлетворительно заметил Яров. — Ну, держись фронтовики. Будет вам работа сейчас.

И точно — вдруг раздался пронзительный крик Петра Михайловича:

— Стой, руки вверх...

И тут же выстрел, за ним другой. Затем грянул сразу залп, затрещал забор, что-то упало тяжело. Стихло — и тут же послышались голоса на огороде.

Дверь отворилась и на пороге вырос с лампой в руке Силантий. В ночной рубахе, босой, в подштанниках. Стоял и немо смотрел на агентов, не в силах произнести хоть слово, ошеломленный и появлением милиции, и выстрелами.

— Что за гости ночевали? — спросил Яров.

Силантий отодвинулся в сторону, вглядываясь в лицо агентов, проговорил заикаясь:

— А кто их знает... Командировочные, в дровянике спали.

— Не знаешь, кого пускаешь в дровяник, — усмехнулся Яров. — А если это варнаки. Командировочные, а в стенку стучал, предупредил, мол, смывайтесь...

Войдя следом за ним, Костя увидел прежде всего Петьку. Мальчишка сидел на сундуке в прихожей и испуганно таращил на них глаза. Наверное, все происходящее ему показалось продолжением какого-то сна. Возле кровати куталась в одеяло Ольга — растрепанная, перепуганная и дрожащая, румяная. Глядела почему-то только на Костю.

— Сколько гостей было в дровянике? — спросил у нее Яров, как показалось Косте, с интересом разглядывая ее. — Или тоже не знаешь вроде мужа своего?..

— Двое, — тихо ответила Ольга, потирая белую шею, щеки, как будто обожгла их только что о горячее. — В дровянике на сеновале спали. А кто — шут их знает. Говорил Сила, будто командировочные.

Вбежал Петр Михайлович, запыхавшийся, возбужденный, с наганом в руке.

— Гордо застрелили, — закричал он, — в самую точку он. Выскочил из дровяника прямо на нас. Мы ему кричим «стой», а он, вот сволочь, из нагана хлестнул. Ну и в упор его как все равно рябчика. Лежит у забора. В сарае еще кто-то сидит. Может быть, и Артемьев сам.

— Артемьев, — вдруг сказал Силантий. Ноги как перестали повиноваться ему после этого признания, опустился на стул. Лампа тряслась в руке и отсветы пламени метались по стенам, как летучие мыши.

— Он самый, Артемьев, — силком заставил прятать. Вчера вечером явились непрошенные гости. Попробуй откажи, если у них полно наганов с собой. Укокошили бы, у них ведь это недолго. Так что подневольный я.

— Продукты у тебя?

Силантий глухо ответил:

— Продуктов никаких нет у меня. Обыскивайте. Станете ведь все равно искать.

— Станем, — согласился Яров. После этих слов Ольга тоже опустилась на кровать, залила лицо слезами. Утирая щеки рукавом рубахи, говорила:

— Предупреждала — мол, не связывайся... Нет, не послушал. А теперь что будет?

Голос ее, казалось, душил мертвой хваткой Силантия. Он царапал грудь, качал головой. И судорожно сглатывал воздух, так что хрустел кадык, заросший щетиной. Яров насмешливо посмотрел на Ольгу, спросил:

— А прийти почему в угрозыск не решилась?

Он прошел по квартире, оглядывая внимательно все вокруг. Сам спустился в подполье. Вылез, отряхивая с коленей пыль.

— А в дровяник что дверь не прорубишь? — спросил, постукав кулаком о кирпичную стену за широкой печью.

— Революция помешала, — тихо и уже хмуро ответил Силантий. — Собирался, да вишь, не до того стало.

— Не до того, значит, — повторил иронически Яров. Он остановиля возле заправленной кровати:

— А это чье ложе?

— Дочка спала, — пояснил все так же хмуро Силантий, — потонула она недавно. Настей звали. В губздраве работала машинисткой. Вон Константин Пантелеевич подтвердит.

— А чего тут подтверждать, — равнодушно ответил Яров. — Потонула, значит, так и есть.

Костя тоже подошел поближе к кровати, тайком и с любопытством разглядывая вышитые красными листьями подушки, покрывало белого цвета, с кистями на концах, полотенце на спинке кровати и столик, на котором стояли пудреницы, одеколон, какие-то баночки. Здесь она спала, сны ей виделись... Здесь она, может, мечтала, вспоминала, думала. О чем она мечтала, кого она хотела любить по-настоящему. И что она мечтала о поселившемся у Александры Ивановны квартиранте: долговязом

парне в синем пиджаке, в фуражке, хромовых сапогах, румяном и черноволосом, неуклюжем и стеснительном, которого однажды встретила на мосту?

— Бери ключи от каретника и выходи, — вернул его к действительности резкий голос Ярова. — Каретник твой тоже прощупаем. Правильно ты сказал, что угрозыск так просто не уходит. Все осмотрим, выясним.

Они подошли к дровянику с приоткрытой дверью, пристроенному к дому. В отдалении за поленицами, за забором чернели фигуры милиционеров, переговаривавшихся друг с другом. Хлопали калитки в соседних домах, тут и там осветились окна светом керосиновых ламп. Во дворе «дома сыщиков» уже кучкой толпились жильцы.

— Иди к воротам,—приказал Яров Силантию,—и скажи: «Артемьев, мол, ты окружен со всех сторон и пора сдаваться». Давай, иди. Уж гостеприимного хозяина он должен пожалеть, наверное.

— Господи, — шепотом ответил Силантий, умоляюще глядя на Ярова. — Да ведь он меня пристрелит в два счета.

Молчание Ярова испугало его, пошатываясь, двинулся к воротам. Дойдя до них, стукнул осторожно, припадая сам телом к косяку.

— Эй, Артемьев. Велят сдаваться...

В дровянике было тихо. Тогда Силантий уже храбро заглянул в сарай. Вдруг отбежал, осеняя себя крестиками:

— Качается. Висит он.

Тотчас же агенты вошли в сарай. Прыгающие лучики фонарей опоясали темноту, пропахшую лошадиным потом, сеном, гнилыми дровами. Посреди сарая, на вожжах покачивался человек — в белой нательной рубахе, в галифе, босой. Подойдя к нему, Яров вытащил из карманов галифе два браунинга, осмотрел их и сказал удивленно:

— Полно патронов, а стрелять не стал. Знать смерть от петли слаще показалась, чем от пули. Ну, да это дело его...

Веревку перерезали, труп положили на мешковину. Осветили несколькими фонарями лицо — узкое и злое даже сейчас, с отвисшей нижней челюстью, округленными от боли глазами. На груди шестиугольный крест, а на руке цифра 6.

— Он, — тихо произнес Петр Михайлович,—он самый, Коля. Сволочь, каких хороших ребят погубил: Васю Шахова, Глебова. И что бы пораньше удавился...

— Так я же говорил вам, что это Артемьев, — как-то обиженно сказал за спиной Силантий. — Выложил, как на духу.

— На духу тебе еще придется выложить кой что, — глянул на него Яров. — Петр Михайлович, бери одного милиционера и отправляйте его прямым ходом в Чека. Пускай Агафонов с ним разбирается.

Он вышел из дровяника и остановился около гомонящих жителей.

— Расходитесь, товарищи, по домам. Ночь еще вся впереди.

— А верно, будто самого главного бандита Колю убили? — спросил из толпы пожилой мужчина в железнодорожной фуражке, в галошах на босу ногу.

— Он сам себя повесил, — сухо ответил Яров. — И вглядевшись в толпу, прибавил: — Добрый вечер, Семен Карпович...

Теперь и Костя и другие агенты увидели протиснувшегося вперед, в пиджаке, накинутом на нижнюю рубаху, без фуражки, Семена Карповича. Стоял и смотрел — и было по насупленному лицу понятно, что обескуражен он всем происходящим здесь.

— Уж извините, — продолжал Яров, — не успели сообщить вам. Тем более, что вы сегодня и так целый день в цейхгаузе больничном мытарились.

— Ничего, — с усмешкой ответил Семен Карпович, — вам виднее, Иван Дмитриевич, сообщать или не сообщать. Я не нужен сейчас?.. Я и Савельев? Он тоже там вон... — Поглядел тут Шаманов на толпу.

— Нет, — как-то звонко отозвался Яров, — пока не нужны. Все здесь с концом. Трупы Грахов увезет сейчас же. Так что отдыхайте, а утром всем быть на месте...

Он пошел к выходу, торопливо подымая воротник плаща.

33

Дождь, начавшийся ночью, не ослаб, а с утра следующего дня перешел в сплошной ливень. Тучи серыми сугробами навалились на крыши города, двигались лени-

во и угрюмо, распарывая клокастые соски о кресты и шпили церквей и соборов, выстроившихся длинными рядами вдоль берега реки. В дымящихся потоках воды бежали одинокие прохожие, пролетки швыряли из-под колес на тротуар фонтаны брызг — и все кругом урчало, барабанило, звенело, шипело.

Яров, наметивший массовую облаву на притоны и гостиницы с ночлежками, вроде рад был такой погоде. По его мнению получалось, что в дождь бандиты забывают про осторожность.

Семен Карпович и Костя прошли Мытный двор — пустынный с утра, с редкими торговцами, которые в своих накидках с кулями на голове напоминали монахов. Едва миновали ворота, как поплыл в воздухе мерный звон колоколов из-за реки, то уносимый ветром и водой, то нарастающий быстро. Семен Карпович остановился, снял фуражку и перекрестил лоб. Потоптался в глубоком раздумье, словно заинтересовал его белопенный поток, извергающийся с глухим рокотом из рыльца водосточной трубы.

— Это со Спасского собора бьют.

Вытер рукавом ежик волос, натянул фуражку и пошел дальше.

— Вот что, — уже решительно проговорил он, — пойдем-ка мы с тобой, Константин, к Ивану Евграфовичу и попьем чайку с цикорием. Погреем свои кишки. Куда же плыть в такую мокрядь... Смотри, что вокруг творится.

Он махнул рукой и не спрашивая, согласен ли Костя, пошлепал через дорогу к бывшему трактиру «Орел».

Как всегда, здесь было полно. Многие просто пережидали, когда кончится дождь, и неотрывно с постными лицами смотрели в окна. Пахло заваренным цикорием, сыростью, табачной гарью. Из каких-то невидимых щелей тянуло холодом с улицы. И, как всегда, звенели стаканы, склонялись головы, грохали кулаки по столам, плакал ребенок, нагоняя тоску.

Иван Евграфович согнал из-за столика двух крестьянок, глядевших на мир бесцветными и безразличными глазами. Не сказав ни слова, подхватив корзины из-под ног, женщины поплелись в другой угол, волоча по ногам длинные подолы коричневых и мокрых юбок.

— Придут, рассядутся, — выговаривал им вслед гневно Иван Евграфович, — как на вокзале.

Склонился почтительно.

— Винца, конечно, в такую погоду, Семен Карпович? Есть бутылочка. Можно сказать, для губернатора или для царя берег. Но поскольку царя, говорят, отпели — все ваше, мои дорогие гости.

Семен Карпович помотал головой, ответил:

— Работа...

— То-то, я слышу, вдруг конная милиция... Один проехал да другой. Ваш почтенный «Фудзияма» побежал куда-то чуть не бегом. Значит, что-то стряслось? Уж не на облаву ли собралось ваше славное заведение?

Глаза его уставились вопросительно на Семена Карповича. Но, не получив ответа, резко шаркнул ногами, поспешил за стойку к женщине, протирающей полотенцем вымытые в котле стаканы и кружки. Шепнул ей что-то, и та, отложив полотенце, исчезла в дверях кухни. Может быть, побежала предупредить кого-то.

— Все о нас знает, — буркнул Семен Карпович, — всегда его донимает, чем мы заняты. Уж не наушничает ли кому из уголовников? Давно пытаюсь я узнать об этом, да уж больно и ловок, и хитер.

Он выругался себе под нос, снял фуражку и бросил ее на широченный подоконник, засыпанный подсолнуховой шелухой, дохлыми мухами.

— Не пойдем мы по притонам, Константин. Нечего там потому что делать.

— А как же тогда? — растерянно спросил Костя. — Так и будем сидеть здесь. Яров как узнает...

— Яров, — задумчиво произнес Семен Карпович. — У него есть толк все же в сыскном деле. Ничего не скажешь. Как ни говори — Колю накрыл. А сейчас недело задумал. Ну, что получится? Нахватаем воровскую мелюзгу, девок гулевых, содержательниц притонов — всех в камеру набьем, как сельдей в бочку. А завтра же всех и выпустим.

Иван Евграфович принес им на подносе чайник и два бутерброда с сыром. Поставил и похвалился вполголоса, так уж видно, по привычке.

— Чайку настоящего, Семен Карпович. Ничего для вас не жалко, ценю потому что вас очень. Ах, если бы у меня было свое дело.

— Ладно, — махнул рукой Семен Карпович. — Ценишь, пока я в сыскном. А уйду и не признаешь...

Заведующий открыл рот, как бы показывая, что он тоже улыбается. Но улыбка вышла кислая, а глаза были тусклыми, как у тех торговцев на базаре. Ответил с искренней печалью в голосе:

— Все мы, Семен Карпович, до поры до времени кто-то, а потом никто и ничто, никому не нужные, лишние под ногами. Как вот эта шелуха подсолнуха.

— Убрал бы ты ее лучше, — посоветовал Семен Карпович. — Или не свое, так и наплевать. Свинарник у тебя, а не трактир, Евграфович? Или при Советской власти грязь первое дело?

— Не свое — это верно, — покорно согласился Иван Евграфович, — уж коль свое-то было бы, так я не допустил бы рассиживать здесь всякую голь безденежную. А тут и не скажи — сразу, мол, мы тебя контру такую из пулемета. И молчишь, и плюешь на все... Вон он, посмотрите, — мотнул головой на старика, повалившегося вдруг со стула на пол, заплеванный, затоптанный. — Допился самогона, сейчас блевать будет, а убирать кто — я да моя помощница.

— За ноги только тяни, а не за карманы, — сказал ему негромко вслед насмешливо Семен Карпович. Иван Евграфович словно бы споткнулся о что-то — обернулся невольно и снова улыбнулся кисло.

— Ну, что вы, Семен Карпович, — протянул, разведя руками, — обижаете вы меня. Или вам в уголовную контору сведения поступили?

Семен Карпович будто не расслышал, разливая из чайника коричневую жидкость в стаканы, и Иван Евграфович, потоптавшись нерешительно, стал пробираться к упавшему старику.

А Семен Карпович внимательно и молча следивший, как жадно ест Костя бутерброд, сокрушающе сказал:

— Отощал ты, Константин. Помню, как приехал — был розовый такой, сытый с виду. А теперь как все в городе — серый, что залежалый снег. Один нос торчит. Ну да ничего...

Он пошаркал пальцем по верхней губе Кости, со смешком спросил:

— Еще ни разу не брил? Ну и не надо. Отпускай усы, пока мыла нет в продаже. А как будет оно в продаже, я тебе на этот случай подарю бритву.

Он вздохнул, вдруг спросил:

— Хвалят тебя, слышал, за Инну Ильиничну.

А Костя как обрадовался, проговорил неожиданно для себя:

— Наплела она тогда на вас. Будто приняли вы взятку от Артемьева, золотые кольца да перстни. Ну, я, конечно, не поверил.

Семен Карпович склонил голову, зорко оглядывая Костю, и мелькнула даже растерянность в глазах. Закрыл их тяжелыми веками, вздохнул.

— Вот как... Значит, взятку принял я из рук Артемьева. Не-ет, — протянул, — из рук Артемьева я не брал взяток.

Помолчал, а заговорил с грустной улыбкой, и врезались в углы рта горькие морщины:

— Она жила напротив розыска, в особнячке. Во двор, бывало, выйдет белье развешивать — одна, а то со своим офицером драгунским. Такой черный, что азиат, и сухой да длинный — прямо жердь. Он впереди с корзиной, она за ним. Прислуги, видно, не держали — не ахти, значит, в карманах было. Такая легкая, с распущенными волосами. Халат развевается как все равно знамя на ветру, свободно так. Встречал я ее на улице, и даже знались по имени и отчеству, и в окно меня замечала.

Костя представил Семена Карповича рядом с этой рослой женщиной и не сдержал улыбки. Увидел обиду на лице Шаманова и поспешно сказал:

— Да нет, вы не подумайте... Просто вспомнил, как в номере тогда она перепугалась, когда вас увидела...

— А-а...

Семен Карпович помолчал, потер виски:

— Как подавили мятеж — долговязый ее азиат куда-то смылся. А может, и пристрелили. А она осталась. Барынька. Ничего не умеет, ничего не знает. Да видно и ленивая. И сошлась через кого-то с торговцами и спекулянтами. Кокаином стала торговать незаконно. Вот зимой прошлой и взял я ее на квартире у одной хабалки базарной. «Позвольте, — говорю, — потрогать ваш торс на предмет постороннего предмета». Обмерла вся, как и там в номере. Ну, пойдемте тогда, говорю ей, в сыскное. Пошла. Идет рядом, постукивает копытцами, нос в муфточку тычет, от стыда знать. И все вертелось у меня в голове.

— Инна Ильинична, бросьте вы вашу шпану, идите хозяйкой в мой дом.

Только глянул на себя: овчинный полушубок, шапка-треух, валенки, зажаренные в печи. А она — герцогиня. В касторовом пальто, в камчатского бобра воротнике, полусапожках...

— Ладно, — говорю ей, — идите на все четыре стороны, Инна Ильинична, да не попадайтесь больше со спекулянтами рядом.

Так ли она была рада. По имени отчеству все звала и улыбалась. Вроде чего — улыбалась, что за решетку не посадил, что преступление по должности записал себе. Только вишь, как обернулось дело. Я ее из грязи, а она меня в грязь.

Облизнул губы, и в глазах поплыла мутная влага. Прогнал эту минутную слабость усмешкой знакомой:

— Нет, Константин, не брал я от Артемьева кольца и перстни. А слух пущен. Кисет-то исчез бесследно. Те, что грабили Тихона, побожились, наверное, Артемьеву, что не брали кисет, в розыске тоже нет. Кто взял — Шаманов. А как мог взять Шаманов, если тогда с вокзала я пошел в другую сторону, домой пошел, потому что жена была очень больная. А доказать некому, что врозь шли. Вот и подозревают.

Иван Евграфович тем временем, подхватив старика, визгливо ругаясь, поволок к порогу.

— А может, он тоже связан был с Артемьевым или Сеземовым? — кивнул головой Костя.

Семен Карпович шумно выдохнул, как обжегся чаем.

— Нет, это не того теста. Трус, боится тюрьмы страшно, как мне признался однажды. Покажи ему наручники — апоплексический удар хватит. Так что в крупных делах не замешан. Таскает, может, то, что плохо лежит. Я, Константин, вот что надумал, — сказал он, потирая подбородок, глядя рассеянно в стакан, — сходим-ка мы лучше в Соленый ряд, к сапожнику Тимохе. Есть такой инвалид. Вспомнился мне там, на улице, Огурец. Помнишь может — тот, что дружка пристрелил из револьвера. Так вот, этого Огурца на той неделе Чрезвычайком самого к стенке поставил. Какие-то у него выяснились еще политические делишки. А вспомнилось, что однажды взял я у Тимохи Огурца с Мичурой. Вот как и ты тоже случайно наткнулся на них. Шел по Соленому ряду да

и ковырнул носок сапога. А Тимоха-то рядом — дай, думаю, зайду, прихватит гвоздиком в два счета. Зашел, а у него гости за столом, набивают животы. Увидели меня, вскочили, а по рожам вижу, что вскочили неспроста — уж больно глаза рыскали туда и сюда. Ну, говорю я им,—чует кошка, чье мясо съела, — пойдемте в сыскное. И пошли, как бычки на веревочке, да по дороге, без моей подсказки, наболтали, как провернули дело да где. А потом как дошло, что я и не думал о них, когда шел по сапожному делу, что на мульку взял их уж и ругали себя, просто волосы рвали на себе. Так к чему я все это говорю? Уж где хорошо залечь, так у Тимохи. Дом в самом закутке, прикрыт отовсюду. А потом там всяких пристроек-сараек тьма, так что не зная, в два счета дорогу потеряешь и не догонишь.

Мимо окон, во двор, проехала подвода, на которой сидел, дрыгая ногами, извозчик в дождевой накидке. Следом за ним, туда же, прогромыхала бочка с нечистотами. Ассенизатор — старик с белой бородой, в фуражке, с высокой тульей, в балахоне, похожем на поповскую рясу, вприпруску семенил рядом с бочкой, волоча за собой длинный ивовый прут.

Они тут же появились в трактире. Заплатили за чайник Ивану Евграфовичу и, сев в другом углу, заговорили о чем-то, близко сталкиваясь головами. Кажется, даже бранились, потому что к стаканам притрагивались редко, помахивали кулаками, а лица были сердиты и неприветливы.

— Этот вон старик, — сказал Семен Карпович, — до революции знатно жил. Пароконных бочек целый обоз имел.

— Пойдемте, Семен Карпович, — попросил тихо Костя, испытывая какое-то беспокойство и терзаясь угрызениями совести от того, что они сидят, пьют чай, едят даже бутерброды с сыром, в то время как их товарищи кто где сейчас шлепают под дождем. — К этому Тимохе, как вы сказали... Может, и правда кто-то у него прячется, возьмем тогда.

— Погоди, — негромко и раздраженно оборвал его Семен Карпович, — некуда спешить. Есть кто там — нас дождется. Воры — они ведь тоже любят в тепле посидеть. А я вот вчера про себя раздумывал всякие думы...

Смотрел он теперь на улицу, на гостиницу «Царь-

град», на ее окна, залитые мутными потоками воды, на ее крышу, как горушка, на подъезд с мраморной широкой ступенью. Изредка дверь открывалась, выпуская людей. Прошел военный с саблей на боку и шлеме, побежала девушка,в высоких ботах, вышли два мужчины в очках с портфелями — важные. Эту важность даже не нарушил и дождь — шли по улице медленно, разговаривая о чем-то оживленно. И тотчас же вслед за ними на тротуаре появился Ваня Грахов, гнавший в угрозыск задержанную женщину. Была женщина простоволоса, с испитым болезненным лицом, одета в длинное и поношенное пальто, опорки на босу ногу. Шла быстро, клонясь вперед, как разыскивая что-то на дороге. Проплыло за окном лицо Вани — мокрое, недовольное и какое-то даже виноватое. Семен Карпович оглянулся на Костю, выпятил насмешливо губу, как бы говоря этим «видишь кого берут агенты», но речь завел неожиданно о другом.

— Ты вчера домой спать, а я на станции был, — звучал глухой, какой-то сонный голос. — Да посмотрел заодно, как красноармейцы садятся в теплушки. Мальчишки совсем, а лица острые, глаза горят, как у тифозных, молчат все, в ружья вцепились. Такие сто лет будут воевать. Их режь, коли, стреляй, а они будут вставать и снова их режь и коли, да не прикончишь. И тяжко стало у меня отчего-то на душе. Голова как не своя и все в тумане. В затылок всю ночь кровь полоскала, того и гляди прошибет кости и, веришь ли, всплакнул я даже. Всплакнул и тут вот всю свою жизнь стал припоминать. Село, где родился, мать с отцом, как приехал вроде тебя в город и поступил к Бибикову в ученики. Как носился я сломя голову. Вроде пупсика — брось палку, а я принес. Брось в другую сторону — опять принес и получил обглоданную кость со стола. Бывало, толстосумам-господам золото возвращали, а в награду на фунт чесночной колбасы да штоф водки. Как-то нашел кож на тыщу, наверное, сапог одному торговцу, а он мне в подарок поношенные сапоги преподнес. И пришлось еще спасибо говорить ему за них. А кто это они, господа-то? Узнавал по долгу службы. И вижу — фью... Едет по улице в ландо барыня — гляди-ка народ — расфуфырена, важна, надменна. Императрица Екатерина, да и только. А я знал, какая цена ее надменности в этой вот гостинице «Царьград», когда приезжали дельцы, от ко-

торых ее фабричонка зависела. Еще глядишь — фунты-нун-ты-карета, усы нафабрены, цилиндр на голове, трость с золотым набалдашником.

А это спекулянт Кирюха, тот самый, что на толкучке мы с тобой прихватили недавно. Или та вон госпожа Добрецкая с внучками. Или Сеземов возьми — картежник, вор интеллигентный, плевый человечишко и с виду-то. А гонор — кто я. Тогда вот в первый год войны обшарил я все это красное заведение от угла до угла, искал его пропавшее портмоне. Все мятые постели одну за другой перетряхнул, все причандалы девок перетряс. А он в благодарность меня по губам съездил, да как еще съездил-то. Вот этих нижних зубов нет по его милости...

— Что ж вы, — хмуро сказал Костя, — так он вас, а вы с ним в номере, в «Царьграде», тогда по-вежливому. Хотя надо было бы в Чека, оказывается, вести...

Семен Карпович чмокнул губами.

— То-то и оно. Документы у него в порядке были. За что его возьмешь, командир.

Он с грустью глянул на Костю:

— Мой круг закончился. И уходить пора из сыска, раз нет доверия. Вон как вы вчера, а я пасьянс раскладывал.

— А давно надо было бы, — продолжал уже угрюмо, — по-другому начинать жить. Ее бы, Инну-то, обшарить там в номере самому, наверняка за лифчиком был кокаин. Да и в каторжную тюрьму, чтобы парашу носила и чистила, чтобы с проститутками вповалку блох кормила. А его по морде бы тоже, да не кулаком, а рукоятью.

Он оглянулся, подозвал Ивана Евграфовича и сунул ему в карман несколько бумажек.

— Помилуй бог, — застонал Иван Евграфович, — зачем эти обои. Вы же знаете, что на них ржавый, погнутый гвоздь только купить можно. Ведь я же добром... Обижаете вы меня всякий раз, ох как обижаете.

— Ну, предложить в обмен мне тебе нечего, — подымаясь со стула, проговорил озабоченно уже Семен Карпович, — разве что пулю только.

Иван Евграфович поперхнулся начатым словом, закивал головой и просмеялся добренько:

— Шутить все изволите, Семен Карпович. Время вон какое смутное, а у вас прибауточки всегда...

Он пошел следом, приговаривая что-то про себя, а у порога прокричал вслед:

— Дай бог вам удачи, ребята... И заходите снова к нам в гости на чаек.

— Дает бог удачи, — проворчал на крыльце Семен Карпович, из-под фуражки тоскливо оглядывая серое небо и эти бесконечные, как волны реки, катящиеся тучи.— Эй, Иван, — закричал он вдруг тонким и властным голосом. — Подожди-ка выгонять свою ломовую.

Выехавший из двора на улицу мужик в брезентовой накидке оглянулся, и рука его с прутом, занесенным над крупом лошади, упала на колено. Старик, поджидавший на улице, судорожно натянул вожжи, закричал:

— И што застоялась, ведьма...

Колеса звонко затрещали по камням, через минуту бочка скрылась за углом Мытного двора, оставив в воздухе свой тяжелый дурной след.

— Отвезешь нас до Соленого ряда, — проговорил Семен Карпович, с кряхтеньем забираясь на телегу. — Меня и вот Пахомова, тоже агента розыскного бюро.

Мужик осмотрел Костю, попытался улыбнуться. А глаза смотрели с затаенной враждебностью. Сдвинулся к краю подводы, проговорил медленно.

— Пожалуйста, отчего не отвезти.

— Да ты гони, — прикрикнул на него Семен Карпович, — не видишь, что дождь полощет. Ты-то вон какой балахон напялил...

Застукали колеса, потянулись мимо дома с горящими водосточными трубами, женщина с ребенком, пережидавшая дождь под крышей бывшего Окружного суда, длинная очередь возле хлебного ларька, нищий, бредущий вдоль очереди, солдат на костылях, летящий по тротуару подбитой птицей, милиционеры на мокрых конях с винтовками за плечами.

— Ты мне скажи, Иван, как зовут того золотаря, что с тобой чаек распивал в трактире? — скучающе спросил Шаманов возле Соленого ряда.

— Иван Никитыч Голохвастов, — заикаясь, ответил извозчик. — Знаете ведь, а спрашиваете.

— Это с Подбутырской улицы?

— Оттуда... Их два брата Голохвастовых и оба чистят. А что, Семен Карпович?

Семен Карпович спрыгнул с подводы, стряхивая со своего дождевика приставший сор, пожал плечами.

— Да так просто. Выгребная яма у нас в доме доверху, а староста не следит.

— Так, может, попросить, чтобы приехал Никитыч? — предложил готовно извозчик. — Это я сделаю. Как раз сегодня повезу болванку на тормозной завод. Путь-то мимо.

— Что ж, — как-то охотно согласился Шаманов, — попроси, пусть почистит, раз этим делом занимается... Да тем более, что болванку мимо повезешь.

34

С незапамятных времен в Соленом ряду вели свое хозяйство купцы Жолудевы. Два кирпичных лабаза с броневыми щитами дверей, широкие и длинные крыши навесов, под ними вереницы бочек с солеными огурцами, с грибами, с мочеными яблоками, ржанье лошадей и натужный поскрип колес многочисленных подвод, ругань рабочих, неистребимый запах рассола — так было когда-то в Соленом ряду. Сами купцы Жолудевы жили в центре, в комнатах трехэтажного особняка из глазурованного кирпича, с прислугой в подвалах, в пристройках. Рабочие же из соленого предприятия ютились по большей части здесь же, в кособоких хибарках, ласточкиными гнездами прилепившихся друг к другу.

После революции Жолудевы куда-то исчезли. Лабазы в гражданскую войну заняли интенданты, навесы сгорели в мятеж, бочки тоже, видимо, и остался лишь въедливый запах рассола в земле, в кирпиче стен, да пеньки от сгоревших столбов, поддерживавших навесы, да вот это название закоулка, именуемое так даже в губернской газете и официальных отчетах.

Дом сапожника Тимохи укрылся за другими домами, заплаканными окнами скорбно глядя на узенькую тропку, ведущую к погнившему крыльцу. Возле крыльца, прямо в воде валялись нарубленные обломки досок. Из трубы подымался и сваливался на тропку едучий дым.

— Печь топит Тимоха, — проговорил, повеселев, сразу Семен Карпович, — уж не гостей ли пирогами кормит, как когда-то Мичуру с Огурцом кормил. Ты вот что, —

деловито посоветовал он Косте, — наган свой держи наготове. Всякое может быть...

Еще в сенях пахнуло вонью прелых и намоченных в воде кож, варом, сырым бельем. Из открытой двери им навстречу жарко шибануло облаком пара: видно, хозяйка этого домика стирала белье.

Не спросив разрешения, агенты вошли в комнату. Прямо перед ними за низким верстаком сидел сапожник, как видно и есть Тимоха. Одна нога босая с черной пяткой, точно он окунул ее в кипящий вар, другая деревянная. Из драных штанов лысинами выглядывали коленки. Рукава красной рубахи были закатаны чуть ли не до плеч, обнажив тонкие и бледные руки с синими венами на локтях и запястьях. Лохмы жидких седых волос плавали на лбу, спадали на тонкий и крючком загнутый восковой желтизны нос. Он подбивал подметку сапога, мычал что-то вроде песни ртом, набитым гвоздями.

Увидев вошедших, медленно опустил молоток, выронил на пол сапог. Потом шумно выплюнул в ладонь гвозди и попытался торопливо подняться.

— А ты сиди, Тимоха, — ловко подскочив к нему и придавив плечо ладонью, проговорил Семен Карпович. — Сиди, настукивай себе на портки, а то вон как они у тебя обтрепались. Нам только скажи — хоронишь ты когонибудь от уголовного розыска или на худой конец хоронил вчера вечером?

— Никого у меня нет, — вяло ответил Тимоха и рыскнул глазами по окнам. Агенты тоже, как по команде, глянули на тропку, по которой только что пришли, залитой водой, поблескивающей от сырой глины.

— Ждешь, что ли, кого?—спросил Семен Карпович.— Если Мичуру, так он уже за решеткой. А Огурца и вообще не дождешься.

— Никого не жду я, господин Шаманов, — хмуро буркнул Тимоха и снова взялся за молоток.

— А господ теперь нет, — наставительно проговорил Семен Карпович, — да было бы тебе известно, Тимоха... Или Соленый ряд по царскому времени еще живет?

— По старой памяти я это, — со злостью тяпнул Тимоха молотком по сапогу.

— А кто старое помянет, тому глаз вон, — прибауткой пропел Семен Карпович. — Так что я для тебя, Тимофей, не знаю как отчество — не упомнишь, — товарищ, просто

товарищ Шаманов. А это товарищ Пахомов, тоже агент. Вот ты и скажи нам обоим, где твой ночлежник, да кто он. Да может и не один он этот твой ночлежник, может с дружком каким знакомым угрозыску? А то ведь к обыску все равно приступим.

Тимоха затравленно посмотрел на него, хотел, видно, снова помотать головой, но тут из кухни вышла женщина в платье, забрызганном мыльной пеной, с засученными по локоть рукавами, с фиолетовым синяком под глазом. Два мальчонки цеплялись за подол ее платья, хныча монотонно, оба как одногодки и схожие — пузатенькие, белобрысые.

— Здесь он, Мама ваш, — проговорила сердито женщина. — Вчера вечером приперся и всю ночь лопали хрен знает какую отраву. А сейчас отоспался да за самогоном потек к кому-то здесь... Явится вот-вот...

Тимоха остолбенело уставился на нее вытаращенными глазами, с отвисшей челюстью.

— Да ты... ты, стерва, что это плетешь? — заикаясь, сказал он. — Уматывай, пока я тебе в башку колодкой не запустил. Тебя разговор наш не касается.

— А потому, что надоела мне твоя шантрапа, — заорала женщина и показала храбро Тимохе кулак,—только и знают лопать до блевоты, а я убирай за ними. Ребятам вон молока не на что купить, а он и в ус не дует. Будто и делом занялся. Сейчас придет Мама, и все бросишь, опять за пьянку.

Тимоха глухо, по-кошачьи урча, попытался все же было подняться, но рука Семена Карповича опять властно усадила его за верстак на чурбан.

— За укрывательство я тебя могу упечь тоже, Тимоха. Так что тут благодари жену. Она правильно рассудила, раз попался, так что уж скрывать...

Тимоха проговорил злорадно:

— Вам, товарищ Шаманов, тоже надо рассудить. Про кисет с кольцами золотыми напомним.

Семен Карпович дернулся болезненно, вдруг сдернул с верстака широкий кожаный ремень и хлобыстнул по спине Тимоху, заоравшего истошно, повалившегося на пол. Он снова взмахнул ремнем. Пронзительно взвизгнула жена Тимохи и тут, не помня себя, Костя кинулся к Семену Карповичу. Успел поймать конец ремня.

— Не надо, Семен Карпович.

Ни разу не видел такого яростного взгляда Шаманова:

— Ты что, Пахомов, — закричал он, — ты что нос свой суешь...

— Не надо, — снова тихо и упрямо повторил Костя. И почувствовал, как обмякла рука Семена Карповича. Ремень глухо катнулся по полу.

— Не надо, так не надо.

Семен Карпович повернул голову к окну и в этот момент с какой-то радостью воскликнула жена Тимохи:

— Да вот он и сам, ваш Мама...

По тропе, пригибаясь под потоками воды, бежал торопливо, оглядываясь по сторонам, Мама-Волки. Был одет он в черное полупальто, хромовые сапоги, на голове нахлобученный на самый нос картуз. В руке что-то завернутое в тряпье.

— Ты, Костя, к окну, а я за дверь, — быстро скомандовал Семен Карпович. Он затолкнул женщину с ребятами в кухню, закрыл дверь, а Тимохе, все еще сидящему на полу, потирающему плечи, пригрозил наганом:

— Пикнешь — сразу пулю получишь. А ну, садись за верстак. Тимоха проворно уселся, но еще не знал, что ему делать — то ли так сидеть, то ли за молоток браться. Решил подколачивать сапоги и набрал в ладонь гвозди. Успел раза два тюкнуть молотком по подошве до того, как замерли тяжелые шаги на крыльце. Наверное, чутьем уловил Мама-Волки опасность за дверями и повернул обратно. Понял это и Семен Карпович. Он крикнул Косте:

— Беги, через огороды подул, видно. Догадлив оказался...

— Ну, — заорал он и выругался скверно.

И тогда Костя бросился к двери. Он пронесся за сарай, прыгнул через заборчик и сразу же в другом конце длинной гряды увидел бегущего Маму-Волки, без картуза, в распахнутом полупальто, с растопыренными руками, как будто он ловил куриц на этой гряде с помятой дождем картофельной ботвой.

— Стой, — закричал Костя, подняв наган. Мама-Волки рывком вскинулся на высокий каменный забор, перебросил свое крупное тело на другую сторону и на мгновение задержался, чтобы взглянуть на своего преследователя. Одновременно с выстрелом разжались руки,

сжимавшие камни забора, и он бессильно скользнул вниз.

Перепрыгнув забор, Костя увидел его лежавшим на боку. Пуля попала под левый глаз и как гранатой разорвала затылок. Ни страха, ни жалости не испытывал он в этот момент. А было лишь какое-то деловитое любопытство.

Подбежал постовой — знакомый парень с винтовкой в руке, в темной от воды шинели, в кепке и солдатских обмотках на ногах. Спросил, кивнув на труп:

— Ты это его, Пахомов? А я слышу, выстрел — бегу и думаю: «Кто это средь дня лупит». Налетчик, что ли, или так просто?

Он тронул худым ботинком плечо Мама-Волки. Тот перевернулся на спину и рука глухо хлестнула по тротуару, заставив шарахнуться в сторону сбившихся уже зевак-прохожих. Голубой остекленевший глаз уставился в небо, серое все еще от дождя и туч.

— Конченый, — спокойно сказал милиционер, — надо на телегу да в морг. Подошел Семен Карпович, проговорил как-то даже сочувственно:

— Ну вот, а Яров хотел его в оперу, в певцы... Заместо Шаляпина.

И еще, задумчиво уже:

—Может, и рассчитался ты, Константин, за Настьку. Очень может быть...

35

В розыск Костя возвратился уже в полдень. Прошел в свою комнату. Там было пусто. Стукали от ветра рамы распахнутых окон. Рассеянно закрыл их, сел за стол.

Вот теперь вновь, как ожил Мама-Волки. Бежал огородом, растопырив руки, валился с забора на тротуар... Узнает когда-то Нинка-Зазноба. Обрадуется или заплачет? Все же первая любовь. И почему Семен Карпович сказал, что он, Костя, расплатился с Мамой-Волки за Настю. Значит, что-то знает...

По коридору застукали каблуки. Дверь распахнулась и в комнату заглянул Карасев. Вспыхнули блики на стеклах пенсне.

— Пахомов, там внизу Шаманова милиционер повел. Вроде бы арестован он.

Костя бросился к окну. И правда — по двору, под конвоем милиционера шел Семен Карпович. С опущенными плечами, заложив за спину руки, как рецидивист. Вот он поднял голову, увидел их лица в окне и слабо попытался улыбнуться. Тут же опустил голову, что-то сказал. Милиционер не ответил, а лишь перекинул винтовку с одного плеча на другое.

— Может, ошибка какая, — забормотал за спиной Карасев. — Или по анонимному письму.

Костя ворвался в кабинет Ярова. Тот стоял возле телефона и накручивал ручку. Увидев Костю, нахмурился, упрекнул строгим голосом:

— А стучать кто за тебя будет, Пахомов?

— Я насчет Семена Карповича...

— Насчет Семена Карповича...

Яров едва не бегом пересек кабинет, остановился подле него, глянул снизу вверх и вспыхнул яркий румянец на щеках.

— А ты молодец, Пахомов, молодец, что не дал Шаманову избивать ремнем человека.

— Обидели его, — сказал Костя, — дескать, взял он кольца у Артемьева.

— Слышал я эту историю с кольцами, — ответил Яров. — Тут можно верить, можно и не верить. Но что кулаки в ход он пускал уже и после революции, я это знаю точно. До сих пор не произошла революция в голове Шаманова. А было бы известно и ему и всем нам, что удары ремнем или пощечины, а то еще, говорят, любил он пуговицы обдирать с арестованных — это приемы полицейских чинов старого режима. Со стороны членов советской рабоче-крестьянской милиции никакие истязания и надругательства по отношению к преступному элементу недопустимы. Пусть трибунал решает с ним. Ну да ты что? — вдруг спросил отрывисто и сердито. — Опять жалость заела. Ох, и жалостливый же ты, смотрю я, Пахомов. Иногда эту жалость надо под сапог. Потому как нас враг не очень-то пожалеет при случае. Сеземов тебя пожалел, а как выясняется сейчас, новую резню готовил в городе. И уголовников даже собирали. Выяснилось в Чека, что Казюнин это помог бежать Артемьеву из тюрьмы. Бывший царский следователь... Неспроста помогали, готовили банду на «мокрое» дело... И Шаманов — с темным нутром человек...

— Он добрый был, — сказал тихо Костя, потупив глаза, — учил меня, воспитывал. Как уж он будет без своего дела? Всю жизнь ведь здесь.

Как лопнула невидимая пружина, сжимавшая губы, глаза Ярова.

— Это верно — всю жизнь здесь. Опытный агент, не скоро вас такими сделаешь. И вроде как честный все же. Сам рассказал, как порол этого Тимоху. Хотя и знал, чем ему это грозит. Но не мог я оставить его на работе. Как старый строй уходит в муках навсегда, так и шамановская порода сыщиков уходит, чтобы больше не вернуться.

Он взял Костю под руку, резко пахнуло табаком.

— Не хотел я говорить тебе. Все же он это тебя привел в розыск. И учил, и добрый, как сказал ты. Только скажу, что революция наша для Шаманова, как кость в горле. Ведь не революция, был бы он начальник сыскного отделения. Приказ своими глазами видел о назначении его начальником. А тут февральская революция, все вверх тормашками. А там и октябрь пришел. Предлагали ему в мятеж белые офицеры садиться начальником. Не захотел. Умный видно. А власть-то непрочная. Вот и не «вмешивается он в политику». Раскусил я его — была бы прочная белогвардейская власть — стал бы им служить начальником. А здесь все в стороне, все в тиши. Ненавидит он нас, меня ненавидит за то, что на его вроде как законном месте сижу.

Думаю, что был разговор у Шаманова с кем-то из банды Коли. Тоже обещали что-то. Может, тесной связи и не было — не такой дурак Семен Карпович. Только сквозь пальцы смотрел, не замечал банду Коли. Хотя наверняка мог найти их еще весной. Уж кому-кому не знать всех тайников уголовного мира.

А тут вот сразу оживился, как повесил себя Артемьев. Посоветовал нам провести обыск у ассенизатора Голохвастова. Хоть и белый конь у него, а мог взять лошадь у Силантия, потому что оба в родне состоят, хоть и дальней. Да и делишки кой-какие были прежде совместные.

Яров усмехнулся:

— Мы бы и без него пришли к Голохвастому, если у него продукты. Силантий все скажет и без Шаманова. Ну да и на том ему спасибо... Ты, Пахомов, шагай в Гос-

тиный двор. Найдешь там Струнина с Граховым и Канариным. Они обыск ведут в сараях. Пусть возвращаются в розыск. Через час двинемся к Голохвастову. Может, и продукты у него, может и черную куртку встретим и еще кого из дружков Коли и Сеземова.

— И вот еще что, Пахомов, — вдруг улыбнулся он и подморгнул быстро голубым глазом, по-доброму, по-товарищески. — Наказывал напоследок Шаманов, чтобы я тебя за Соленый ряд отметил в приказе как достойного агента. Это я сделаю. А пока давай-ка пожму тебе руку...

36

Он вышел на улицу и остановился, оглушенный цокотом копыт проходившего мимо кавалерийского эскадрона. Ряд за рядом качались парни в седлах, все как онемевшие, с каменными лицами, крепко сжимающие поводья, с шашками на поясах, с винтовками за плечами. Проехала, сверкая полированной медью, походная кухня. Так и пахнуло сытным теплом, напомнившим что-то Косте. Пошел по тротуару в другую сторону, откуда ехали кавалеристы, осыпанные первыми желтыми листьями тополей. Потом побежал все быстрее и быстрее и даже задохся от непомерной быстроты и в горле стало сухо. И отступали прохожие — видел испуг в глазах женщин, что-то крикнул знакомый из рабоче-крестьянской инспекции, заходивший не раз к ним в уголовную милицию по служебным делам. Но вот за углом увидел на площади у моста Семена Карповича. Шел он ровно и спокойно, все так же покорно и привычно держа руки за спиной. Показалось Косте, что доволен он тем, что взяли его под стражу, что ведут за реку, как он водил когда-то арестованных.

Постоял немного, все еще раздумывая. Потом шагнул на мостовую и свернул к переулку, наполненному до крыш туманом, моросящим дождем, грохотом ломовых извозчиков.

ı-
в
и
ıе

и
)-
я
ю
...

)-
)-
е-
)-
и.
я.
с-
ıи
ıи
ке
ю
ıх
ой
и-
ıа
и
ка
и,
ıл

ıл
ю
ıх

44 коп.

Верхне-Волжское
книжное
издательство
Ярославль 1972

